

НИКОЛАЙ
ЕЛЕНЕВСКИЙ



СЕРДЦЕБИЕНИЕ

Николай Еленевский
Сердцебиение (сборник)

«Четыре четверти»

Еленевский Н. В.

Сердцебиение (сборник) / Н. В. Еленевский — «Четыре четверти»,

ISBN 978-985-7103-72-0

Героями сборника стали земляки автора. А сюжеты выстроены на прожитом и пережитом в детстве, юности, зрелом возрасте, на увиденном и услышанном на дорогах жизни. Через описания природы родного края, диалоги, бесхитростные эпизоды из жизни понимаешь, насколько сильно писатель любит свою землю, как крепко связан со своей малой родиной, с людьми, живущими там. Повествования писателя изложены захватывающе, со здоровым юмором, раздумьями, лирическими отступлениями, с вкраплением полесского говора, что делает его прозу запоминающейся.

ISBN 978-985-7103-72-0

© Еленевский Н. В.

© Четыре четверти

Содержание

Повести	6
Хлебный крест	6
Жолнеж	30
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Николай Еленевский

Сердцебиение

Повести

Очерки

Рассказы

© Еленевский Н. В., 2016

© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2016

Повести

Хлебный крест

– Руку начало ломать, наверное, к непогоде.

Мы сидим на теплой солнечной стороне у стены старой сельской хаты, и дед Яромчик легонько растирает правое предплечье.

– На дождь не смотри. Не надо было с самого рання косою махать. Говорил тебе, как освобожусь, подъеду и сам обкошу, – сердится его сын Петр.

– Подъеду, обкошу, а я, по-твоему, сидеть должен? – не унимается старик.

– Сидеть не сидеть, а подождать мог.

Сын намекает на возраст. Николай Григорьевич появился на свет еще при царе-батюшке, в 1912 году. Да такой дурной век впереди оказался, что не приведи Господи. Чего только не перепало деду Николаю повидать и перенести за все эти многие и многие годы.

– Кто долго ждет, тот мало имеет, – резюмирует на свой лад старик, – а все-таки ранение дает себя знать, раньше, кажись, я на это не жаловался. Или как? – он хитровато прищуривается, ждет, что все-таки ответит сын.

– Конечно, не жаловался. Да и сейчас от тебя такого не дождешься. Все сам да сам, – соглашается Петр.

– То-то и оно...

В их перепалку, легкую, непринужденную, за которой даже непосвященному в эти отношения человеку чувствуется и огромная сыновья любовь к прислонившемуся к потемневшей стене старику, и такое же взаимное уважение этого старика к сыну. Я не вмешиваюсь, понимаю, без разрешения старика туда нечего вступать, только помешаю. Наоборот, мне нравится слушать их, особенно Николая Григорьевича.

К тому же, словно на скатерти, разостлан хороший день: в дождливое нынче ненастье вдруг влетело на дымчатой паутине бабье лето. И засияло, засверкало, запахло, затуманилось, закружилось, заплелось в этой паутине то, без чего осень становится унылой, грустной, вязкой, тяжелой...

Ладорожская осень – необъяснимая пора. Дни после затяжных дождей пошли легкие. Солнечные лучи отливают из листьев медь. Ее золотистость виднелась повсюду: широкими мазками наброшена на поле за околицей, мелкими штрихами пробежала по сельским подворьям, хотя у каждого подворья свой колоритный портрет, утонченно обозначилась в здешних садах – и каждый сад золотился, краснел, румянился по-своему, только у реки она никак не может затушевать прибрежную зелень. Этот зеленый пояс придавал Ладорожи особенную статью, ту статью, которая присуща пожилым женщинам, еще сохранившим и легкость походки, и красоту движений, но уже понимавшим, что лучшие годы позади.

И Ладорож смирилась перед этой ненавязчивой, но каждодневной осенней настырностью и принимала ее краски с той устоявшейся покорностью, как покоряются судьбе.

У села удивительное даже для нашей полесской топонимики название. Хотя в округе есть и Ласицк, и Невель, и Хойно, отдающие пращурской неизвестностью и этим выпячивающиеся из таких обыденных наименований, как Востров, Диковичи, Круговичи, Лопатино, Жидче...

* * *

Еще когда подходили, почувствовал доносившийся с подворья Яромчиков запах свежескошенной травы, сорняков, как здесь говорят, зелья, тонкий, далеко не весенний, даже не летний. Он еле уловимый, в нем намешена и крапивная горечь, и сладость лебеды, и терпкость осоки – всего того, что стояло вдоль старенького забора, что выскочило в давно убранном огороде и полезло вдоль сарая, закрутилось около ульев и теперь пало под бритвенной остротой косы.

– Баткина работа, – пояснил Петр Николаевич, – никому не доверяет. Когда мать была жива, так они вдвоем эту землю охаживали. Так что в доме его искать бесполезно, где-то он здесь.

Мы встретились около улья-колоды. Их несколько в огороде. Древние, они достались Николаю Григорьевичу еще от его отца, а отцу – от деда. Теперь такой улей поместить бы в уголке городской квартиры – и запах меда устоялся бы навечно, несмотря на все те «чудные» запахи, которыми богат любой город.

В одном из районных центров российской Орловщины, куда после чернобыльской катастрофы переехали некоторые полесские белорусы осенью 1986 года, мне довелось увидеть такой улей в доме. Он стоял на почетном месте – в красном углу, над ним взирали на нас с потемневших от времени икон строгие лики святых.

– Не мог оставить. Теперь вся родина здесь уместилась.

В том улье хозяин сделал «бар». Вечером доставал из него бутылку и после первых ста граммов начинал плакать.

Раньше многие мужики в полесских селах считали иметь пчел первым делом. Пчела в хозяйстве свидетельствовала о трудолюбии хозяина. Лодыря она не терпела, улетала. Здешний мед я пробовал, и не раз. Особенно понравился в деревне Востров. Она недалеко от Ладорожи. Несколько лет назад в Вострове открывали дом социальных услуг. День стоял удивительный, полный солнечного света, музыки, песен, танцев. Даже не верилось, что немногочисленные жители все имели почти пенсионный возраст. Украшение праздника – длинный стол с домашней выпечкой и тарелками, полными душистого меда. Мы с председателем райисполкома Вячеславом Сашко аккуратно макали сдобными булочками каждый в свою «медовую» тарелку, запивали чаем, на что один из местных старожилов недовольно покачал головой:

– Вячеслав Васильевич, мы же вам ложки положили. Когда-то булка для нас была редкостью, а мед – дело обыденное.

Но ложкой меда много не съешь, однако, просьбу хлебосольного островитянина уважили, и правда, чая при этом вошло столько, сколько я выпивал разве что в Ташкенте в компании аксакалов под развесистыми ивами над шумными арыками Юнус-Абада.

...Николай Григорьевич прислонил косу к улью, взял грабли, но, заметив нас, сменил их на самодельную трость и пошел навстречу удивительно легкой походкой. Что-то было в нем от скворца. Те желтоклюво челночили все огородные закоулки, в бесчисленном множестве пунктирили небо над деревней, оглашали воздух громогласными переговорами.

Поздоровавшись, старик присаживается на скамейку, сделанную еще в те далекие годы, когда на этой длинной, потрескавшейся, потемневшей от времени доске не хватало места многочисленной семье.

– Ладно, кто рано встает, тому Бог дает, а как оно у тебя, сынку?

Это его обычный вопрос, с которого начинаются их встречи с тех пор, как Петр вернулся в родные края и возглавил местный сельхозкооператив, то бишь колхоз. Отец требовал от сына еженедельного, а то и чаще, отчета о проделанной работе.

– Все в порядке, батко. Все в лучшем виде!

Николай Григорьевич, считая меня своим человеком, хмурит седые брови:
– Так старшему, а тем более батьке, не отвечают. Прошу со всеми подробностями.

Почти четыре года назад и по возрасту, и по состоянию здоровья ушел на заслуженный отдых местный руководитель Николай Кошар. Около тридцати лет он посвятил здешней земле. Хозяйство было на хорошем счету, а в иные времена благодаря мелиорированным землям и вовсе ходило в лидерах. Сельчане неплохо зарабатывали, строились, растили и выводили в люди детей. Не сказать, чтобы жировали, всякое случалось, но с хлебом были.

Да и Николай Яромчик о тех годах вспоминал, посматривая на свои намозоленные ладони, с чувством хоть небольшого, но удовлетворения. Он с женой Софьюшкой подняли и поставили на ноги пятерых детей. Когда на себя надеялись, когда на власть, да и на колхоз в придачу. А сколько раз бывало, что выручали – шурин Николай, соседи Иван Полейчук, Евгения Ботвинко...

Всех деток появилось на свет девятеро. Четверых война забрала: заболели разными хворями, единственным лекарством от которых были отвар из малиновых веток да сушеная царь-ягода – черника. Сколько слез выплакал он тогда с женою. Сколько свечей поставил в церкви и молил Бога уберечь остальных. А после войны – голеча и кусок хлеба в радость. Беднота. Это сейчас все домотканое стало музейной редкостью. А тогда оно и на столе, и на кровати, и на себе.

Вроде как выкарабкались, дела в гору пошли, да навалилась чернобыльская беда. И кто бы мог подумать, что она исподтишка столько зла наделает, а за Чернобылем подобралась беда не меньшая – перестройка. Главным девизом ее стал лозунг: «Куй «железо», пока Горбачев!» О каком железе шла речь, понятно. Ковали, забыв обо всем...

Да не проклял ее Господь в самом начале!

Поползло село в яму. До чего же страшной она казалась тем, у кого за спиной были годы и годы самой разной жизни, таким, как Николай Яромчик.

Чем дальше, тем быстрее и тем глубже оказывалась эта яма. Кошар как только мог, все старался удержать колхоз, хоть на ее краю, но удержать. И не он один. Многие председатели ломали головы над тем, как выжить. Да куда там, огромная страна лезла по границам, как по швам, начала трещать, разваливаться, крошиться на куски. Чья-то неизвестная сила имела желание сгрести их со стола истории в помойное ведро. Вопрос стоял ребром: выживем ли? Все оказалось на грани экономического и политического коллапса.

Николай Григорьевич сказал сыну:

– Беги, куда глаза глядят. Нечего тебе здесь делать.

Петр, получив экономическое образование, трудился экономистом на одном из пинских предприятий. Затем поступило предложение из райисполкома перейти работать в аппарат. Стал одним из главных специалистов в райсельхозпродде. Судьба неспеша, исподволь, но подталкивала его к тому пути, от которого в юношеские годы так старательно уберегал отец. Теперь уже не просто интересовался селом – жил его жизнью. А жизнь налаживалась. Помаленьку начали забываться очереди в магазинах, уходили из людской памяти талоны на дефицитные товары. Дефицитным же было практически все – от детских носков до телевизоров. Теперь в районе некоторые колхозы так уверенно шагнули к некогда утерянным рубежам, что оставалось только восхищаться их руководителями. В первую очередь Александром Полейчуком, сыном соседа Ивана Полейчука. Александр Иванович не дал пропасть хозяйству, устоял и теперь постоянно занимал верхние строчки сводок по району. Был на виду у областного начальства. Президент государства Александр Лукашенко вручил медаль.

Полейчук знал, кого в райисполкоме планируют на место Кошара, и сказал Петру:

– Кому-то надо впрягаться в этот воз. Ты жилистый, если не потянешь – помогу.

Их хозяйства соседствуют.

Когда Петр поведал отцу, что будет возвращаться, да не просто возвращаться, а займет место Кошара, тот лишь тяжело вздохнул: значит, и сыну выпала доля нести на себе хлебный крест. Может, самый что ни на есть тяжелый из тех земных, что дал Бог человеку.

Старик понимал, что время пришло совсем иное, и оно позвало. Везде только и разговоров о том, что надо возрождать страну, упавшую, дальше некуда.

Тогда к руководству СПК в разных селах пришли талантливые специалисты Валерий Кулишевич (он несколько раньше других), Александр Андриевич, Александр Новик... Тот же Александр Андриевич, присоединив к своему «Валищу» вконец обанкротившийся колхоз «Озаричи», сумел за несколько лет не только погасить приобретенные «Озаричами» долги, но и выйти на высокий рентабельный уровень. Каких усилий ему это стоило, знает только он сам.

Примерно такой же путь проделал и Александр Новик. Реформа к его перспективному рентабельному СПК «Молотковичи» довесила два лежащих колхоза. И с этим довеском все-таки стал подниматься, идти в гору. Агророгодок «Молотковичи» признан победителем республиканского конкурса в своей номинации по благоустройству села. Здесь большая заслуга и руководителя местного хозяйства.

О Валерии Кулишевиче, наследнике дважды Героя Социалистического Труда Владимира Ралько, вообще надо бы повести отдельный разговор, как руководителя, человеку, не давшем потерять громкую славу одному из некогда лучших хозяйств республики. Он того стоит. Сюда можно было бы прибавить и еще тройку имен. Как однажды тактично сказал заместитель председателя райисполкома Иван Богатко, каждый того стоит.

Практически все новички и раньше были при должностях, попробовали на них и радость успехов, и горечь неудач.

– Что ж, сынок, если вернулся, берись за дело, – без особой радости напутствовал своего младшего Николай Григорьевич, – хорошо, если все получится.

– Должно получиться.

– Дай Бог.

– Батько, обещаю, что...

– Верю, верю. Кому мне еще верить, как не сыну. Но ты наших людей знаешь. У них мало этой веры осталась. Кто им и чего только не обещал, а в итоге...

Итог был им, сидевшим за крепким дедовским столом, сжавшим в кулаки жилистые узловатые руки, думавшим извечную крестьянскую думу – думу о Хлебе, известен. Все более пустым, даже по сравнению с соседями, становился сельский стол. По республике и области начались подвижки. В некоторых газетах о наиболее успешных хозяйствах писали, что там чуть ли не коммунизм наступил, тот самый, долгожданный, обещанный еще Никитой Хрущевым. Хрущевское время о себе на память полешукам оставило частушку:

Мы Америку догоним

По надоям молока.

Не надоим у коровы,

Так надоим у быка.

...В полесской глубинке время словно застыло. Застыло вместе с этой частушкой.

Над газетными публикациями люди ехидничали:

– Так ведь всем селом одного человека, что всей областью одно хозяйство, всегда можно сытым сделать, а другим каково?

* * *

Здесь деревня любые результаты всегда примеряла только на себя. Народ воспринимал власть настолько, насколько она сама воспринимала его. Будет от нее польза – и народ за ней. Никогда еще ни одну власть он с литаврами не встречал, хотя властей этих за последний век менялось столько, что теперь разве что в историческом справочнике все определено более-менее верно. В том же далеком девятнадцатом году после революции здесь новую власть почти не восприняли. Вроде как землю дала, но зерно забрала, скот забрала. Точнее, добрала то, что уцелело от германца (так называли солдат кайзеровской армии). Затем вместе то с наступавшими, то с отступавшими красноармейцами исчезало из деревень все, что хрюкало, кудахтало, лежало приданым в девичьих сундуках, пряталось по клетям да по лесам. А банд сколько ходило-бродило! И все есть хотели. У кого забирать? Да у полесского мужика.

Оголел и озлобился полешук окончательно. Говорят, что здесь сельчане в июле 1920 года помогли нескольким сотням сабель из так называемой народной армии Станислава Булак-Балаховича, созданной польским правительством под флагом борьбы за независимую Беларусь, незаметно пройти полесскими болотами в тыл 4-й армии красных войск. «Балаховцы» внезапным ударом по 55-й и 57-й дивизиям заняли Пинск и водрузили над ним русский флаг. Город сдался практически без боя. Этот удар во многом предопределил исход всей польско-советской войны. Он отодвинул фронт от Пинска на сотню километров ближе к Гомелю, и воюющие страны в 1921 году в Риге сели за стол переговоров. Командир 55-й дивизии Борис Фельдман, будучи преподавателем военной академии, в 30-е годы написал манускрипт, в котором, по сути, бегство дивизии описал как тщательно продуманную операцию отхода, спасшую дивизию от полного разгрома и пленения. В манускрипте говорилось о том, что численность врага превышала тысячу сабель. Был награжден. Но явь становится явью. Факты оказались иного плана. Их добавили к тем, что уже имели органы на высший командный состав ленинградской военной академии. Фельдман был арестован и репрессирован.

Польская власть ничем хорошим полешука не облагодетельствовала. Жил тем, что давало поле. Многие промышляли контрабандой: носили малопроездными болотами в Советы, на Гомельщину, сало, хлеб, мясо, масло, хромовые сапоги и тулупы, оттуда мануфактуру, керосин, спички, соль. Кто попадался на той стороне, напрямик шел в лагеря. Кто на этой – в тюрьму. И советские, и польские пограничники были одинаково безжалостны к нарушителям границы. Ибо видели в каждом только шпиона.

А как не пойти, если девушкам так нравились ситцевые цветастые набивные платки – «ивановские».

Но не у каждого было поле, которое давало хлеб и для хозяина, и на продажу. И не каждого оно кормило.

А надо...

* * *

– Начинай, сынок, с порядка, дисциплины, – вздыхал отец, – видишь, какую страшную болезнь забросила в наши края перестройка? Это когда было видано, чтобы из хаты ни на шаг, а то все унесут?

Петр и начал с этого. Из двухсот членов кооператива оставил чуть более сотни. Пьяницы и лодыри – геть! Сколько разговоров вслед! Сколько жалоб! Особенно от тех, кто, пропив в городе все (семью, квартиру), теперь вернулся на пенсионные хлеба стареньких родителей.

Первой опорой для Петра Николаевича в новой должности стали такие люди, как Тамара и Владимир Алисейко. Они из приезжих. С Гомельщины. Когда-то чернобыльская катастрофа

внесла переполох в жизнь тысяч таких семей. И не только на Гомельщине. Ко многим пришел страх за судьбу детей, за их здоровье. Этот страх погнал народ по обширным просторам великого и могучего Советского Союза. Уезжали, куда глаза глядят: к дальним родственникам, обжившимся в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Оренбуржье, Сибири и поближе – в Центральной России...

– Володя, мы далеко забираться не будем, – сказала Тамара мужу, – ищи что-нибудь поближе, на родине. Бабуля моя говорила, что людям только кажется, что чем дальше, тем лучше, а коснись обживаться, не все гладко. Около своих все же надежней.

Володя и поехал. Объездил, посмотрел все, что мог. И Гродненщину, и Брестчину, и Минщину...

Вернулся удрученный:

– Такое движение после этого проклятого Чернобыля, что куда ни зайди, везде наши горемыки.

Тамара не поверила, упрекнула:

– Значит, плохо искал.

Он только развел руками. Но поехал опять, поехал за надеждой, что где-нибудь да что-то подходящее и найдется.

Увы!

Они же хотели просто хорошую работу. По крайней мере, чтобы не хуже той, на какой трудились. Страшная вещь разочарование. Оказалось, что хорошие работники не нужны.

– Своих некуда девать!

Как бы все обернулось дальше, одному Богу известно. Но приехал к ним в хозяйство бывший односельчанин, занимавший одну из должностей на далекой Пинщине в колхозе «Маяк». Сказал, что примут их с радостью.

– Хозяйство у нас большое, и деревень в нем несколько, да вот все равно голод на кадры. Механизаторы и животноводы нужны.

Володя сразу с вопросом:

– А речка поблизости есть?

– Есть, и очень красивая.

– Не обманываешь?

– Приезжай, увидишь.

Поехал. Увидел здешние места и понял, что легла к ним душа сразу и бесповоротно. Вернулся и сразу начал нахваливать, что там все хорошо.

– Ты мне о работе рассказывай.

– А что о ней рассказывать. Сама знаешь, какая это работа. В этом смысле она везде одинакова. Но при желании заработать можно. А места там, места...

Тамаре стало понятно, что муж за что-то в том Ласицке сердцем зацепился. А если так, и ей спокойнее, увереннее.

Когда переехали, то всем дали понять, что это не на год и не на два. За что местный народ, который к пришельцам со стороны не очень-то благоволил, разные ведь попадают, стал относиться к ним с уважением. Если у начальства заслужить его оказалось проще, то у такого же рядового труженика куда сложнее и труднее.

Тем более, как говорили здешние жители, «нас, ласицких, на мякине не проведешь, скорее они тебя проведут».

Володя стал трудиться трактористом, Тамара пошла на ферму.

Вскоре она стала заметным человеком как в уже ставшем родным «Маяке», так и в районе. Фотография Тамары Михайловны Алисейко украсила районную Доску почета.

– Работу знает и любит. – Три маленьких слова, а сколько вместили. Сколько всего надо, чтобы о тебе так сказали.

Только-только жизнь в свое русло вошла, как ураганом налетела перестройка, разметала, расколотила некогда могучее государство вдребезги. Даже фундамента не оставила.

Всего хватило – и свободы слова, и демократии, и талонов, и очередей, и «зайчиков», и «белочек», которые имели одно удивительное свойство: сколь быстро появлялись, столь быстро и исчезали. Сумасшедшая инфляция проглатывала их как крошки с послеобеденного стола. Она даже «зубрами» не подавилась.

Крутись и выживай, кто как сможет. К тому же и детей подходила пора в люди выводить. Да только что им могли дать Тамара с Володей, кроме своих трудовых рублей, которых по тем временам кот наплакал.

А здесь еще у Володи язва обострилась. Врачи посоветовали соблюдать диету, режим дня. Видимо, аукнулись к этим годам и сибирская нефть, и чернобыльский катаклизм, и перестройка. Тамара начала упрашивать Володю, чтобы уходил с трактора.

– Давай к нам на ферму.

Он лишь костерил себя за все то, что выпало на их долю. Но ее просьбам внял и перешел в животноводы. Уже семь лет, как их вся семья встает ни свет ни заря.

Благо, при Яромчике хозяйство пошло на подъем. Начали расти производственные показатели, а вместе с ними и заработная плата.

В прошлом году ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК облисполком высоко оценил труд Тамары Михайловны как оператора машинного доения. В письме-благодарности от областной власти говорилось:

«За шматгадовую добрасумленную працу ў сельскагаспадарчай галіне, значны асабісты ўклад у развіццё гаспадаркі і ў сувязі з прафесійным святам».

– Это наш золотой фонд, – уважительно отзывается о таких семьях, а их в СПК несколько десятков, Петр Яромчик.

Сам же, как говорил с улыбкой, сразу после принятия должности на постой перебрался к тестю. Живет в Ладорожи. Теперь на фермах, мехдворе мог появиться в самое неурочное для некоторых лиц время.

* * *

...Старенький «уазик» остановил недалеко от скирды с сеном. Удивительная ночь. Тишина. Он любил тишину во всей ее первозданности. Даже дверь машины, которая закрывалась с хорошим хлопанием, не закрыл. Сторож был на месте. Он только что вернулся с обхода. Еще раз вместе с ним прошли вдоль хранилищ, осмотрели технику. Все в порядке.

– Петр Николаевич, не переживайте, там уже кое-кто знает, что к чему, – и сторож ткнул палкой в сторону деревни, – по правде говоря, я и сам раньше побаивался, чтобы не огрели чем-нибудь.

В кабине, как только он захлопнул дверь, в затылок ткнулось что-то холодное. «Ну вот, кажется, доездили», – подумал и замер. И на душе вдруг в один миг стало пусто-пусто. В память сразу вскочил рассказ бывшего председателя Кошара: ему здешние мужики за такие ночные «прогулки» дверь в хате подперли огромным старым железным крестом, принесенным с кладбища. Позади шумно засопело, задышало в ухо, и длинный шершавый язык скользнул по щеке.

– Ах ты гад! – облегченно воскликнул Петр. – А надо было тебя на цепь посадить, надо! Чуть в гроб не вогнал!..

Пес, уловив в его голосе простительные нотки, еще раз прошелся языком по щеке.

Когда Петр собрался проверять охрану, к нему по устоявшейся за эти месяцы привычке привязался тестев Жук, страстный любитель ночных прогулок. Но Петр решил собаку не брать. Так он следом за машиной бежал, нашел и в кабину залез.

* * *

Старик после некоторого молчания продолжает:

– Ты мне, сынок, скажи этот «Джон Дир» на наших полях «дыр» или не «дыр»?

Кооператив недавно приобрел, как все считают, супермашину – трактор «Джон Дир» со всем причитающимся к нему инвентарем. Появилась возможность, о которой раньше и не мечтали. Правда, в кредит влезли, себя в зарплате обокрали, но взяли.

– «Дыр», отец, да еще как «дыр»! Он у меня всю посевную на себе волочет.

– Хлопцев хороших на него посадил?

– Хороших!

– Я их знаю?

– Да нет, из молодых.

– А на мое поле кого послал?

Своим полем он считал кусок земли, которую невероятным трудом отобрал у леса и болота, прозванного в народе за свою топь Чернитово, в начале позапрошлого века прапрадед.

На том поле и родился в 1912 году он, Николай Григорьевич. На том поле его отец, Григорий Яромчик, перерезав пуповину, завернул сына в полотенце, расшитое красными петухами, на котором в поле обедала семья, пел от радости и приговаривал:

– Каб было поле ўрадлівым, а доля шчаслівай.

Он смастерил колыбель, подвесил ее на березе рядом со своим полем. Жена над ней напевала:

*Ой сыночка люляю,
Не хадзі шчасце з краю,
А хадзі шчасце блізка,
Да Міколкі ў калыску.*

Затем сунет мальцу в рот обманку – кусочек хлебного мякиша, прожеванного или при-моченого в молоке и завернутого в чистую тряпицу, – а сама с серпом спешила кланяться полю.

На том поле, когда Николаю перешло за десять лет, он проложил свою первую борозду. Тяговитый и спокойный Гнедько шел медленно, понимая, что за плугом совсем юный пахарь. Стриг ушами, ловил звонкий прерывающийся голос. Отец шагал рядом, иногда поправляя плуг. Через пару дней сказал: «Все, сынок, наука окончилась. Теперь давай сам. Испортишь – получишь бизуна». Помнит и теперь Николай Григорьевич, какой была первая борозда. Отец, почесав затылок, критически осмотрел ее, улыбнулся:

– Худо не худо, а пахарь получится.

На том поле Николай Григорьевич учил этой борозде и своих старших сыновей. Правда, младший, Петро, уже постигал эту науку в огороде. Но постиг всем на зависть. И сейчас с плугом ходит играючи.

Сколько раз в тяжелые годы поле спасало семью Яромчиков своим колосом! И в войну, и после нее.

Когда в 50-х оно отошло под колхоз, Николай долго не смог привыкнуть, что остался без земли. Так переживал, что чуть не слег. Все последующие годы ездил туда, смотрел, что и как растет. И не он один такой. Хороший мужик без земли, что улей без пчел. Одна видимость.

Вот и теперь сердце ныло. Донимал сына вопросами:

– Говори, чего молчишь?

– Юрий Юнгов на нем пашет. По весне ячмень посеет.

– Ячмень так ячмень. И он, если походите, уродит. Ты, сынок, не обессудь, но когда почувствую, что пора мне туда, – он кивнул вверх, – чтобы свозили меня к нему.

Затем идут подробности о том, сколько надоено молока, где вспахано, откуда еще не свежена солома, какие надбавки к зарплате получают доярки и механизаторы. Старик удовлетворительно крикает:

– Вот это по-моему.

Он опять помаленьку растирает руку:

– Вот незадача, работы столько, а она нить жутко взялась.

– Николай Григорьевич, где ее зацепило?

– Да немец попал, будь он неладен.

– Воевали?

– А то как же. Этого «добра» на мою долю тоже немного перепало. Четыре месяца, два наступления и отметина на всю жизнь...

– Где он вас?

Старик задумчиво смотрит перед собой, словно там, впереди, вдруг появились очертания того самого переднего края.

– Тогда подожди, небож, подожди, не спеши и не перебивай меня. А ты Петро, сходи повороши зелье, пусть быстрее подсохнет, чтобы к вечеру убрать.

Для старика все здешние мужчины, кому меньше шестидесяти, небожи, а женщины – небоги. Он очень любит это в некотором роде забытое нами слово.

«Небож» и «небога» – так ласково умудренные жизнью полесские старики и старухи называли и своих отдаленных родственников, и сельчан, и людей, пусть даже пришлых, но хороших. «Небож» по-русски бы звучало, скорее всего, как голубчик. Детишки – «небожата».

– Знаешь, в таком возрасте, когда мысль ускользает, ее очень трудно вернуть, отыскать. В памяти-то, ого, сколько всего! – Он потирает ладони, перепоясанные темными веревками вен, поудобнее опирается на отшлифованную годами палку, которую при случае называет своей третьей ногой. Мы сидим на лавке, длинной, темной от времени доске, плотно прикрепленной к двум подгнившим, но еще крепким дубовым столбикам. Сколько поколений пересидело на ней. Все Яромчики, от мала до велика, за те годы, что стоит здесь их усадьба. Позади такая же темная стена хаты, впитавшая уже немного осеннего солнца и теперь приятно гревшая спины.

* * *

– Давай-ка, небож, если согласен слушать, пойдем неспешным шагом. Мобилизовали меня в польскую армию, это уже повторно, летом в тридцать девятом году. Перед самой мировой войной. Служил рядовым солдатом. Попал в плен к Советам. Нас много попало. Стрельбы между не было. Пришли от Красной армии офицеры:

– Сдавайтесь, вы окружены.

Погрузили в эшелон и повезли куда-то под Москву. Выгрузили. Построили. Перед нами советский военный начальник:

– Ну что, панове, попали нам в руки. Будет вам и семнадцатый год, и восемнадцатый. Теперь вам времени на все хватит.

Мы переживаем, что с нами будет. Сильно расстрела боялись. Еще по эшелону слухи ходили, что везут для расстрела. Молодые, жить ох как хочется! О расстреле разговора нет. Приказали идти в столовую. Хлопцы повеселели, если кормят, значит, не для пули.

В столовой нам покушать дали. Кто ест, хотя проголодались крепко, а кто от переживаний только ложкой по миске водит. Хлеба на столах осталось много, уйма. Думаю, нехорошо, надо бы с собой немного захватить, и стал его по карманам рассовывать. А тот военный за мною наблюдает, подходит и говорит:

– Правильно делаешь, солдат, впереди очень дальняя дорога.
Киваю головой, соглашаюсь. Дальняя дорога без хлеба – сплошная мука. Что пленному солдату надо: хлеб да махорка.

– Набирай, солдат, сколько можешь, он тебе потребуется.

Покормили, построили, повели на сортировку.

Там сразу новая команда:

– Собирай пожитки, выходи строиться!

Какие у пленного пожитки: все его, что на нем, да еще ложка с котелком, бритва, кружка в вещевом мешке. С еды ничего, а я своему хлебу радуюсь.

Погрузили в эшелоны и повезли. Долго везли и медленно. У хлопцев аппетит появился. Просят: дай не то что корку пожевать, а хоть понюхать кусочек. От голода животы подводит. Хлеб утек из вещмешка, что вода в засуху. Где-то под городом Горьким загнали эшелоны в тупик. Конвоиры дают команду:

– Выходи, панове-вояки!

И смеются...

* * *

Повели их в казармы какой-то части. Там уже были такие, как они. Большой плац. Стоят несколько десятков рядов, может, тысячи человек. Здесь из них самый высокий военный чин и говорит:

– Товарищ Сталин распорядился, что те пленные, которые по Буг, поедут домой. Тех, которые по иную сторону, повезут в лагерь. Те все польские. Но при переписи говорите правду, а то беды не миновать.

Начали делать перепись. Выстроились в очереди. Пошли расспросы, сверки документов. До самого декабря все протянулось. Кто до Буга, набралось где-то с полторы тысячи человек. Гадают, как решится их судьба. Чего только не передумали. Хуже нет, чем солдатская дума, когда человек в плену. Сколько всего переговорено, порассказано...

Те, кого вписали в списки на отправку домой, повеселели. Ждут не дождутся своего дня. Отправляли небольшими партиями.

Когда подогнали вагоны, оборудованные нарами, с печками, и повезли в Здолбунов, то, как только сели да застучали колеса, так по вагонам песни, свои, белорусские.

В Здолбунове тоже лагерь. Опять проверяли, расспрашивали. Вот из него и отпустили домой.

Перед самой войной из их семьи в Красную Армию пошел Василь. Красивый, видный хлопец. Силушку имел большую. Как-то на праздник забежали детишки во двор:

– Василю, Василю, там вашего диды хлопцы из соседнего села колотят!

Дед тоже не слабак был, но тех хлопцев человек восемь. Василь туда, да от забора хватать кол потолще:

– Ну, кто под руку попадет, я не виноват!!

Так и гнал неблагодарных гостей почти до их села.

Василия провожали, как и других парней, красиво, всем селом. Написал, что служит под Москвой в тяжелой артиллерии. Под Москвой он в декабре 1941 года и погиб. Об этом Яромчики узнали уже после войны. Прислали бумагу, что Василь пал смертью героя.

Призвали Николая Яромчика в действующую армию в 1944-м. Тогда сразу после освобождения здешние села после призывов крепко опустели. А что поделывать, кому-то немца гнать надо было. Из той же Ладорожи на фронт ушли Иван Ботвинко, Иосиф Курадовец, Иван Полейчук, Иван Парчук, два Николая Парчука, два Степана Ботвинко, Владимир Чернюк, четверо Яромчиков – Василь, Константин, Максим и он, Николай.

Сколько слез село увидело и рыданий услышало! Хотя оно все эти годы от них и не высыхало. Да ведь такое дело: немца гнать надо. Свезли всех призванных на станцию в Дубровицу, в вагоны и за Москву. Где-то под Ярославль. Там учебные лагеря размещались. В одних пехоту обучали, в других танкистов, артиллеристов... Копали, бегали, стреляли. В общем, немного подучили – и опять в вагоны и на фронт. Ночью прибыли на станцию Барановичи. Побита она бомбами крепко. Куда не ступи, то кирпичи, то ямы, то железо взрывами покрученное. Команды, крики, ругань, построения. Но все с толком. Со станции пешим строем в лес. Там военный лагерь. В нем стали распределять, кого и в какую часть направить. Людей масса. Отберут несколько сот, выдадут оружие, винтовки-трехлинейки, – и обратно на станцию, на погрузку.

Кого за Брест на Вислу, кого за Гродно на Кенигсберг.

В эшелоне узнали: везут на рижское направление.

– Ох, братцы, там такая мясорубка, что не приведи Бог, там очень тяжелые бои и надо большое пополнение.

– Был там?

– Был, теперь вот после госпиталя...

* * *

Пополнили нами стрелковый полк, и он сходу пошел в бой. Без задержки, как выгрузились с эшелона, так и на передовую. Привези нас сюда раньше, немец вычислил бы, догадался – и сюда своих людей побольше. Тогда дело оказалось бы для нас худо, куда хуже, чем сложилось. А так сходу – и в бой! Батальону на пути встала высота, опоясанная дорогой и немецкими траншеями. И крепко встала. Она высилась по ту сторону дороги, и эта дорога с нее смотрелась как на ладони. Один взвод проскочил эту шоссейку и прорвался в первую немецкую траншею, да там и остался.

Немец таким сильным огнем встретил, что батальон отошел назад.

Командир роты вызвал нашего младшего лейтенанта Володина, командира взвода:

– Видишь там, за немецким шоссе, наш первый взвод. Наверно, раненые есть. Ночью немцы обязательно пойдут отбивать траншею. Сами понимаете, что раненых в плен возьмут, а тяжелых, так и положат на месте: чего с ними возиться. Надо своих выручать.

– Понял, есть!

Мы слышали, что там раненые есть, оттуда все кто-то кричал, просил о помощи.

Володин поставил нас в рядок... Раз, два, три, четыре. Ну, сержант, полезай...

– Огу... Товарищ младший лейтенант, а куда я полезу, куда я полезу? Там уже столько лежит... Я на это дело не соглашаюсь...

В нашем отделении были храбрые хлопцы.

– Мисюк, давай ты!

Мисюк – здоровый, веселый, крепкий хохол, мы с ним дружили.

– Нет, хоть убей! Да я не такое видел, но это же зазря все...

– Тогда, Яромчик, приказываю тебе!

Думаю, другим за отказ простят, а мне нет. Все знают, что я служил до этого в польской армии и был в советском плену. Отдаст Володин под трибунал за невыполнение приказа и Бога не побоится.

Ну я и предлагаю:

– Товарищ младший лейтенант, попробывать можно, да что я сам сделаю. Я ничего не сделаю. Мы же обратно с раненым эту проклятую шоссейку не переползем. Уложит он нас.

– И что ты предлагаешь?

– Вот если бы длинный провод, телефонный, я туда с ним полезу, заматаю этим проводом раненого, а вы его и вытянете сюда.

Вызвали связиста. Нашли провод: «Бери!»

Отступать-то некуда, надо лезть. Обвязался проводом, крепко, на тот случай, если самого зацепит, чтобы вытащили, и пополз.

От воронки до воронки ползком, бочком, как удобнее и безопаснее. Хорошо, и наша, и немецкая артиллерия нарыли, наковыряли ямок. Добрался до взвода. Лежат хлопцы, как прикованные. Приковала их смерть к земле навечно. Вон Мишка лежит, всегда покурить просил, там Сергея всего разворотило, белый, как полотно, очень хотел до победы дожить... Этот раненый, что сильно кричал, был из нового пополнения. Может, я и видел его пару раз, да и то около котелка. А куда тащить, когда из него кровит. Перетянул рану чистой портянкой, ее всегда за пазухой имел на случай, если самого не насмерть, так чтобы для санитаров сгодилась. У них часто бинтов не хватало.

Замотал провод за ноги, кричу:

– Тяни, хлопцы!!!

Потащили, и я следом. Оставаться одному страшновато, а вдруг немцы вперед пойдут. За провод тащат, я подталкиваю, помогаю, чтобы он в воронку не завалился, а то и ноги оторвут, а не вытащат.

Перетащили.

– Ну что там, Яромчик, делается?

Человек я верующий, так ему и говорю:

– Товарищ младший лейтенант, ужас, страшный суд! Тот стонет, тот ползает-кружит от боли... Боже мой, товарищ младший лейтенант, что там делается!

– Ну, Яромчик, ты и разбожжался. С обстановкой хоть определился, все знаешь?

– Знаю.

– Вот и ладно. Давай с Мисюком вместе туда, через дорогу.

* * *

Переползли. Договорились, что Яромчик будет тех хлопцев цеплять на провод, а Мисюк сопровождать через дорогу. Без разбора, всех подряд.

Смотрел, выбирал, чтобы на солдате место где поцелее, а мертвых, так за что угодно цеплял, лишь бы дотянули. Определили с Мисюком, где местность поровнее да тянуть покороче. А немец как увидит шевеление, так постреливает: или из пулемета ударит, или снаряды точно на это место положит. Как даст, так земля гулом гудит...

...Правда, только за шею боялся цеплять, а вдруг человек еще живой, разве что контуженный или от боли сомлел, а ты его проводом задушишь. Все больше подмышки. Провод режет. Стонут хлопцы, енчат, ругаются на чем свет стоит. Думаю: «Бог с вами, ругайтесь, мне главное, чтобы вас через дорогу переволокли».

Пока Мисюк туда-сюда, Яромчик к месту «переправы» уже очередного подтаскивал.

Лежит с последним, ждет, что Мисюк провод притащит. Ждет-ждет, нет друга. Крикнул:

– Где Мисюк?

Ему с той стороны:

– Давай ползи сам!

Снял тогда ремень с винтовки и этим ремнем начал солдата опоясывать, чтобы сподручнее было тащить. Пополз. Когда оказался по ту сторону, так даже не поверил, что все обошлось.

– А где Мисюк?

– Да вон, в окопе лежит.

Яромчик туда. Лежит Мисюк, стонет:

– Все, Николай, отвоевался я, – и показывает на ногу, а ему ступню, как бритвой, снарядный осколок обрезал.

Володин солдата в плечо торк:

– Яромчик, а твоя винтовка где?

Он только руками развел: оставил и забыл совсем, привык, что куда бы ни полз, куда бы ни шел, она за спиной.

– Давай за винтовкой!

– Товарищ младший лейтенант, здесь этого оружия...

– Давай, давай за своим. Она за тобой числится.

Полз солдат обратно. Лежит винтовка там, где последнего раненого к себе привязывал. Обрадовался, за оружие и назад.

Здесь солдата командир взвода обнял и говорит:

– Ну, Яромчик, я этого никогда не забуду. Представлю за храбрость к награде.

* * *

– Потом нас перебросили на Кенигсбергское направление...

Передышки не получили. После прибытия и выгрузки с эшелона сразу ночью марш-бросок на передовую. Там вчера стрелковый полк занял немецкую траншею, и требовалось удерживать позицию. Сменили мы тех солдатиков, кто эту траншею отвоевал. В темноте только их бинты белеют, да еще мат, тихий, но такой злой, что, кажется, попадись им сейчас какой немец, в ключья порвут. Вот злости накопилось у людей.

– Здесь, гад, насмерть стоял, но мы его выкурили...

– Да, упирался он крепко.

– А пулеметов понаставил... Думали, не прорвемся, так сеял, так сеял – головы не поднять.

Солдаты переругиваются:

– Прорвались, но и похоронной команде работы хватит.

Приказано устраиваться получше, оборудовать огневые позиции. Те, кого сменяли, кое-как объяснили, откуда всего сильнее он, то есть немец, бьет. А до него метров двести, не больше. Но там – тишина: ни стука, ни говора.

Месяц и десять дней эта траншея, немецкий блиндаж да окоп, который из траншеи выдавался вперед на пару десятков метров, стали родным домом. Ночью посменно дежурили у пулемета: то командир расчета сержант Матвеев, то Яромчик. Постреливали в немецкую сторону, давая понять, что здесь начеку. И оттуда к ним обратно очередь за очередью, дескать, и мы не дремлем.

Перестрелка...

Сменяется, перекурят, сам-то не курил, отдавал свой табак Матвееву, поспят, если можно было назвать эту дрему сном, и опять на боевую позицию. Днем полегче, днем отсыпались. Кто в небольшом овражке грел воду в бочках и стирал портянки, кто писал письма, кто ремонтировал осыпавшуюся стенку в траншее. Когда прибывал старшина роты с термосами, по траншее поплыл запах перловки, звяканье котелков и ложек, и над всем этим вскоре вился махорочный дым вперемежку с веселым смехом.

Ротный принес приказ, что всем солдатам раздадут мешки:

– Наберете в них песка.

– А зачем эта земля?

– Командир, а что это будет?

Ротный только отмахнулся, дескать, солдату рассуждать не положено, а надо выполнять то, что приказано.

Я сержанту Матвееву и говорю:

– Знаю, для чего этот песок.

– Для чего?

– Пойдем вперед.

– Да ты что? Ведь никто об этом ни слова. А здесь сразу вперед.

Стало рассветать, немножко-немножко – и туман из низинок выполз. Командир собрал всю роту, кроме тех, кто в боевом охранении, сказал, что будем наступать. Замполит выступил. Коммунисты тоже следом за ним слово взяли, стали всех подбадривать. Народ молчит, чего зря говорить. Солдату приказано вперед, он горло дерет и бежит, стреляет, падает, ползет, опять бежит. Потом они узнали, что после прорыва немецкой передовой линии требовалось этими мешками сделать гать через болото.

– Хлопцы, наступаем с интервалом в пять-шесть метров. Задача – прорваться через немецкую оборону и выйти к той роще, что слева от нас, а там дальше...

Мы и пошли. Может, метров с пятьдесят прошли, все тихо...

По цепи команда:

– Бегом!

Тут немец как дал из пулеметов. У него все пристреляно, даром что еще темновато, лупит метко. Крик, стон, попадали, как трава под косою. Лежим. По цепи опять команда:

– Подъем и вперед!

Побросали эти мешки с песком, кто где, с ними ведь не очень-то разбежишься, а ползти и вовсе несподручно, и пошли. Если бы без этих проклятых мешков, так и ближе подобрался бы.

Слышно, как ротный кричит:

– Броском до траншеи, броском! – и ругается жутко.

А где ты поднимешься, когда над головой вжик да вжик, цви-и-ик да цви-и-ик: железные соловьи поют так – головы не поднять. Куда вперед, народ начал отползать обратно в свою траншею.

Володин между нами бегаёт, пистолетом размахивает:

– Подъем и вперед!! За Родину, за Сталина!!!

Оно понятно, за выполнение приказа офицеры отвечают. Ох и трудно было подниматься!

* * *

Взводный подбегает к пулеметному расчету:

– Перебежками к холмику и оттуда прикрывать огнем цепь, патронов не жалеть!

Матвеев подхватил пулемет, Яромчик магазины – и бегом туда, куда указал взводный. Пули дырявили шинели, а их не тронули. Добежали, быстро пулемет установили – и огонь! С другого фланга еще наш пулемет застрочил. Поднялись солдаты, побежали вперед. Немцы опять ка-а-ак дали, даже минометы затыкали. Снова рота легла.

Целый час, а может, и больше мутузились, и ни на метр вперед. Уже окончательно стало светать. Над полем тишина, туман еще низинами колышется, как будто кто-то бродит в нем, что-то ищет.

Сержант Матвеев, командир пулеметного расчета, крепкий, рослый такой сибиряк, говорит:

– Непонятно, а наши где?

Везде все тихо.

Рассеялся туман. Впереди немецкая траншея виднеется, немцы там ходят, переговариваются. Все слышно, и с холмика видно их.

Сержант шепчет:

– Вот вляпались, Яромчик.

– Ничего, помаленьку попробуем в землю зарыться. Потихоньку, так, чтобы немцы на нас внимания не обращали. Подумают, что это раненые копошатся. Зароемся и затихнем.

Попятились они с вершины, начали окапываться. Холмик. Земля, что камень. Лежит на боку, торкает в нее лопаткой. Наколукает, отгребет и дальше. Стараются. Погибнуть зазря немудрено. Как ротный говорил, кто зазря погиб, тот не солдат. Солдат должен умирать с пользой. Сначала прикопали головы, уже веселее на душе, а там чуток и поглубже. Долежали до темноты. Затем помаленьку начали отползать в свою траншею.

Командир роты их увидел, удивился: «Как вы остались, как вы команды не услышали, что отступить приказано?»

– Да вот не услышали, товарищ капитан!

– Ладно, берите носилки и выносите раненых с этого проклятого поля.

Ходят по полю, как по тому свету, шепчут: «Хлопцы, отзовись, есть кто живой?» Найдут, на носилки – и тащат в тыл. Человек шесть отыскали, перенесли в траншею. А так много набралось. Их начали дальше переправлять. А есть хочется, жуть. Перед атакой никто не ел. Если перед атакой поел да пуля в живот, шансов выжить никаких. Санитары и врачи предупреждали, что лучше всего в атаку натошак идти. Тоже веселого мало. Почти сутки во рту ничего.

– Хлопцы, может, у кого какой сухарь заваялся?

Дали... Жует его солдат, а он такой вкусный!

Передневали. Все тихо. Немец не беспокоил, а нашим тоже не до него. Никак не отойдут после неудавшейся атаки. Яромчик с сержантом рассматривали свои продырявленные шинели. Палец пролазит. Показывают бойцам, те хохочут, говорят, это вы сами дырок наделали. Сержант сердился: «Это надо спросить, куда вы наделали, так драпали, что и нас оставили».

Вечером пришел приказ отвести полк в тыл. А что там отводить? От их роты, может, пару десятков человек уцелело. Это с семидесяти человек, если не больше.

Во втором эшелоне просидели целый месяц. Новый год, 1945-й, встретили. Готовились к наступлению. Зима пришла. Зимой воевать куда как хуже. Если не дай Бог ранят, так мороз быстро добьет.

День 30 января 1945 года был прописан во всех документах простого солдата великой войны.

* * *

– Накануне, ранним утром 29 января, перед атакой по немцам авиация налет совершила, затем ударила наша артиллерия, а к ней «катюши» добавились. Казалось, от немцев ничего не осталось. Мы снова должны были добежать до своего леска, а что за ним, никто не знал.

– Вперед!

Поднялись, по белому полю «Ур-ра-а!».

Он опять с пулеметов. Это надо же, после такой бомбежки, такой артиллерийской подготовки и уцелел. Нам приказали отступить. Наша артиллерия опять как даст по его переднему краю... Часа три молотила без перерыва. Теперь, когда мы пошли вперед, огонь с его стороны был не такой сильный.

Прорвались!!!

...И пошли гнать. Главное – не дать ему остановиться и закрепиться. Здесь уж нас агитировать не надо, сами понимали, что к чему. Может, километров тридцать, а то и больше шли без остановки, без передышки. Народ уже окончательно выдохся. Ночью вышли к реке, к Неману. Поселок какой-то. Моста нет. Взорван. Но саперы переправу по льду налаживают. Вдоль берега войск разных уйма.

И здесь немецкая артиллерия приложилась. Взрыв на взрыве. Крушила все подряд. Калибр большой, как попадет в машину, так ничего от нее, попадет в дом, только печь уцелеет. Я у командира роты связным был. Нырнули мы под танк. Я лежу и молю Бога, чтобы этот танк не поехал. Взрывы такие, что как попал снаряд в танковую башню, так мы понизу на минут пять с командиром оглохли. Перекрестился: «Спасибо тебе, Господи, что сохранил!»

А капитан ругаться стал. Он крепко бранливый был:

– Да плевать на твоего Господа. Заладил, Господи, Господи...

– Не надо так, товарищ капитан! Все мы под ним ходим, – попросил Яромчик.

– Под пулями ходим, а не под ним! – и капитан опять выругался. – У них на пряжках этот Бог написан.

Для меня, человека верующего, это обида большая, вначале смолчал, а затем и говорю:

– У них свой, а у меня свой.

Обстрел продолжался долго.

Когда разрывы притихли, капитан приказал всем собраться.

– У немцев передний край обороны по берегу идет. Значит, будем по льду переправляться. Держитесь один одного. Там саперы маячки выставят, вот по ним и ориентироваться. Главное, чтобы все было тихо. Сосредотачиваемся под обрывом, а оттуда броском вперед. На нашей стороне неожиданность. Немцы думают, что без артиллерии мы не сунемся. А мы рискуем!

Страшно бежать по замерзшей реке. Ни укрыться тебе, ничего. Хорошо, что еще ночь темная – месяц в тучах, – бежим повзводно, след в след, по маячкам саперным. Лед на середине слабоватый. Где-то промоины чернеют, плещут, а в голове одно: только бы он нас не заметил, только бы не ударил. Получилось так, как и планировал капитан. Вся рота втихую по льду пробралась к обрывам. Сгруппировались. Каждому взводу определена задача. Затем: «Ур-ра-а-а!» Стрельбы было мало. Своих бы в рассветной мгле не зацепить. Больше на штык, на гранату надеялись. Видишь чужака перед собой и колешь. Здесь уж кто быстрее да ловчее. Немец ведь тоже не промах, он тоже хороший солдат. Хотя умирать не любит, очень боится. А кто любит?

Перед атакой нам по стопке водки выдали, натошак, для согрева, для бодрости, для смелости. Теперь каждый считал, что в него штык не попадет и пуля минует. Лезем нахрапом.

Траншея и окопы оказались мелкими, даже блиндажи были не такими, как те, что мы вначале наступления брали. Там все было обустроено основательно, капитально. Не блиндаж, а жилая комната со всеми прибабасами. А здесь сляпано на скорую руку, что на немца совсем не похоже. Видимо не ожидал он, что мы прорвем его переднюю линию. Заняли, обрадовались, что потери совсем малые. Думаем, вот остановимся, покормят, передохнем. Командир роты по планшетке стучит кулаком:

– Не занимать оборону! Есть приказ двигаться дальше и пересечь дорогу!

Эта дорога впереди, до нее, может, с полкилометра. Танки наши переправились, мы под их прикрытием пошли. Ротный говорит:

– Я буду между вторым и третьим взводами.

И побежал. Вместе с ординарцем. Рассвело. Видно на белом, и вдруг снаряд за снарядом. Это немец по нам ударил. Опомнился, значит, он. Дубасит так, что головы не поднять. Танки наши гореть начали, некоторые остановились, назад попятиться.

И надо же, накрыло нашего капитана вместе с сержантом.

Мы бегом туда, где этот снаряд разорвался, чтобы капитану помощь оказать. Подбежали, ординарец весь черный лежит, контуженный, раненый, землей осыпанный, а капитан побит крепко. Хороший человек был, но мне очень жалко, что он крепко в Бога бранился. Оно пусть бы для себя и не верил, но не надо так ругаться.

Наш Володин взял командование ротой на себя:

– Вперед, хлопцы! Только вперед. Надо добраться до шоссе!

До шоссе добежали. Присели. Пошел снег. А здесь немец перенес свой огонь сюда, на дорогу. Так бил, так бил, что думали, из нас никто не уцелеет. Когда все утихло, младший лейтенант говорит мне и еще одному солдату:

– Надо донести раненых в тыл. Выполняйте.

Мы ведь ординарца с капитаном в той воронке оставили.

А на чем ты их понесешь, носилок нет, ничего нет. Мы от дороги чуть вниз к деревне спустились. Говорю напарнику: «Здесь что-нибудь сподручное найдем». Высматриваем. Вижу, лодка на тележке под навесом стоит. Это хозяин ее по осени сюда от реки перевез и поставил до новой воды. Я же сам на реке вырос, на Полесье. Предлагаю ему, вот это подойдет. Покатили мы лодку к той воронке.

По снегу...

Через поле...

Один тащит, другой подталкивает. Упираемся. Я уже думаю: «Худая наша затея, пустую лодку не покатыть, а если в нее двоих положим, что будет»? Вижу, мой напарник совсем упарился, пот вытирает, посматривает на меня. Подбадриваю его, киваю, мол, управимся.

Помалу добрались до той воронки. Ординарец был живой, а капитан уже помер.

Напарник говорит:

– Чего мертвого тащить. Похоронная команда подберет, давай хотя бы ординарца дозем.

Говорю:

– Нет, так не пойдет. Младший лейтенант приказал двоих доставить. Ни перед лейтенантом, ни перед Богом грешить не буду.

Вижу, закипел он, разозлился, но перечить не стал. Помаленьку положили мы в плоскодонку капитана и ординарца да покатали вниз, чтобы через реку да туда, где медсанбат остановился.

* * *

Это поле с лодкой он на всю жизнь запомнил. Наверно, сейчас на нем жито посеяли, а может, и нет. Как оно было снарядами перерыто! Кое-где танки подбитые дымились. Страшно танки горели. Дымит-дымит, а потом из середины огнем ухнет, только люки, сорванные взрывами с башни, свистят.

Лодку на поле швыряет, да так, что виснем на ней, чтобы не опрокинулась, чтобы с тележки не слетела. Не поле, а вечность. Сколько мы ее тащить будем, одному Богу известно, а сержант вцепился в борта, стонет: «Братцы, не мучайте, братцы, не мучайте!»

Ему несладко, и нам не легче.

– Терпи, браток, терпи!!!

Когда склон вниз пошел, к тем самым обрывам, откуда мы на немца полезли, говорю напарнику:

– Давай-ка снимем лодку с колес, да прямо по снегу. Вниз она пойдет сама по себе.

Сняли, потащили: я лодку, он тележку. Поменялись: он лодку, я тележку. Хотели сначала тележку на поле оставить, да ведь жалко, война войною, а людям по весне она сгодится.

И хорошо, что не оставили, через реку опять лодку на тележку поставили да повезли.

Ох и намучились, пока катили ее. Передали капитана и ординарца санитарам, а сами быстрее обратно. Пойдет рота дальше, ищи ее потом в этой круговерти. Вернулись, доложили, что доставили по назначению:

– Капитан умер, а сержант должен выжить!

– Спасибо, солдаты.

Уткнулась рота в снег у проселка, что дальше ее ждет, никто не знает. Прибегает связной из штаба батальона:

– Приказано продолжать наступление!

Несколько километров еще прошли, а уже сил никаких, кажется, упал бы и ни за что больше не поднялся. Через эти несколько километров немец опять встретил сильным огнем. Это он на пути нашего наступления оставлял такие отряды, чтобы они нас сдерживали. Опять мы остановились. Володин нас жалеет, говорит, пока нам артиллерия не поможет, не пойдём, иначе всех нас положат. И успокаивает:

– Ничего, хлопцы, прорвемся. Поднатужимся и прорвемся. Другого не дано.

А со мной рядом молоденький солдатик из Минска был. Из пополнения. Кажется, Иванков его фамилия. Стерло время фамилию, стерло. Он меня все время дядькой называл. Говорит:

– Дядька Коля, можно, я около вас буду. Вы в Бога верите, и моя мать тоже в Бога верит. Я у нее один остался.

Отвечаю:

– Зови, как хочешь. И рядом будь, я же не прогоняю.

Сидим, опершись на винтовки, переговариваемся. В снег не ляжешь, окоченеешь, потом и не поднимешься. Взрывы то тут, то там. Холодина. Сердце ноет, на душе нехорошо, говорю:

– Давай чуть левее, уж очень место у нас ненадежное.

Почему я так решил, не могу сказать, видимо мне какой-то голос свыше подсказал. Только мы на метров десять впрыскав отошли, как снаряд точно туда «у-ух!». Меня в плечо ударило и в правую руку. Опрокинулся навзничь, кричу:

– Спасайте, братцы!

Мой Иванков тоже енчит. Ему ногу и плечо осколки проббили. Он канает, и я канаю. Но живы! А на минуту задержишься, не отойди – ничего бы от нас не осталось, даже каблуков от сапог не нашли бы. Вот она, судьба!

К нам товарищи подбегают:

– Хлопцы, как вы?

Достал портянку, дал им, чтобы раны перетянули. Кое-как перевязали. Кровь дымится, шинель коркой покрывается.

Лейтенант Володин бедует:

– Как же так, Яромчик?

Так ведь снаряд ни имени, ни звания не спрашивает.

– Если сможешь, Яромчик, то сам помаленьку в тыл выбирайся. Дорогу ведь помнишь? А он пусть с нами остается. Уже вечереет, за ним фурманка подъедет.

Иванков стонет:

– Дядька Коля, ни покидай меня, пропаду!

– Ничего, небож, выживем. Тебе хлопцы пропасть не дадут.

Перекрестился я левой рукой, поскольку правая недвижима, забросил винтовку за спину и начал выбираться. Запомнил, что когда лодку с капитаном и сержантом катили, то правее поля лесок был, оттуда наша артиллерия была. Танки там ревели. Думаю, мне туда надо. Пошел. Жажда мучит, крови много потерял, голова так кружится, что вот-вот и упаду. Снег спас. Зачерпну в ладонь, давлю, пока не закапает, посмокну и дальше...

* * *

Добрел солдат до леска. В нем уже нет артиллерии, только снарядные гильзы в подтаявшем снегу кучами лежат. Никого нет. Увидел вдалеке хутор: дом и несколько еще каких-то

построек. Побрел туда, а что делать. Подошел. Везде все заперто. Стучит, тишина. Сильнее стучит. Открывается дверь, за ней лежат раненые, санитар винтовку на него наставил.

Вскинулся Яромчик на него:

– Ты чего? Раненый я.

Он осмотрел руку, говорит:

– Надо перевязать, сильно перетянули, вон как почернела вся. Боюсь, как бы до большой операции дело не дошло.

– Перевязывай, браток.

– Тогда давай, что там у тебя есть? У меня все бинты на них ушли, – и показывает на танкистов, артиллеристов.

Достал из мешка нательную рубаху, порвал ее санитар на ленты, аккуратно все перевязал.

– Руки твоей жалко, – говорит он, – а может, и жизни. Когда опять за нами телега приедет, не знаю, но поскольку ты ходячий, так иди сам в медсанбат. Знаешь, где он?

– Примерно знаю.

– Вон туда.

Вышел я на часового, за ним палатка, солдаты. На меня крик:

– Стой! Ты куда?!

Говорю, раненый, прошу только одного: «Дайте воды, дайте попить!». Так меня эта жажда вымучила, дальше некуда. Дали, попил и свет увидел.

Они мне и показали, где теперь медсанбат находился. Это было почти рядом.

Меня сразу в перевязочную. Там столько раненых! Обработали, уколы сделали и в автобус. Автобусом доставили в госпиталь. Сначала хотели руку отрезать. Я в крик, в слезы: «Товарищ военврач, без руки я пропаду, я же на селе живу, а там без руки все, не работник! У меня же дети, семья! У меня свое поле!»

Военврач и слышать ничего не желает: «Кость перебита... готовьте к операции!»

Я начал Бога молить, начал просить: «Товарищи, дорогие, сохраните руку!» Подготовили к операции. Заходит женщина-хирург. Руки у нее с такими тонкими пальцами, живыми и крепкими, красивые руки, это я уже потом заметил, и говорит:

– Ну-ка пошевели, солдат, пальцами.

Я пошевелил.

– Так. Еще. Хорошо. А как вы себя чувствуете? Хорошо. Что ж, солдат, постараемся обойтись без ампутации!

И по моей черной коже ножиком – шах! Лежу и думаю: «Господь с тобой, дамочка, делай, что хочешь, только бы рука уцелела». Давай она там ковыряться. Я немим криком захожусь. Дали мне укол, она опять там ковыряется, затем и говорит своим помощникам: «В сторону его, через часик посмотрю!»

Через час рука сморщилась, посинела, но ее чувствую. Приходит этот хирург. Долго смотрела, так сделай, так сделай, опять пальцами шевелить заставила:

– Думаю, солдат, будет рука при тебе!

Зашила, приказала забинтовать.

* * *

Пролежал рядовой Яромчик в госпитале месяц и десять дней. Затем его перевезли в Каунас. Там на комиссию. Посмотрели, вроде все нормально, но свищ течет, не заживает. Не понравилась рука врачам. Что-то не то с ней. Солдата в самолет и в Ульяновск. Еще несколько месяцев лежал он в тыловом госпитале. Там операции провели, все делали, чтобы сохранить солдату руку. Там и победу встретил и благодарил Бога за то, что рука сохранилась.

Вернулся домой, а через несколько лет война опять напомнила о себе. Напомнила повесткой из военкомата: «Гражданин Яромчик Николай Григорьевич, вам необходимо прибыть в военкомат к 9 часам...»

Мужики начали подначивать:

– Что, Миколай, не довезли тебя тогда в Сибирь, значит, теперь довезут...

Жена в слезы, мать в слезы, дети тоже, вой на всю околицу. Мать фартук сняла, на лавку положила:

– Господи, что же это будет, зачем ты им? Все, поеду сама в тот Пинск.

Собралась и поехала. Там сказали, что все хорошо, что сына награждать будут.

Привезла эту новость домой, только нет веры этой новости.

За что награждать? Пожал Яромчик плечами: мало ли что. А на душе кошки скребут, чтобы такое могло случиться, зачем он опять кому-то понадобился.

Прибыл. Видит, еще несколько человек сидят, ждут. Подумал, что хорошо, хоть не один. Дежурный по военкомату заводит всех в кабинет. Военком и говорит: так и так, дорогие товарищи, вас вызвали для вручения государственных наград, заслуженных вами в боях за Родину. Извинился, конечно, что так долго эти награды искали своих хозяев.

Из Пинска бывший солдат Николай Яромчик вошел в хату с медалью «За отвагу», за ту самую отвагу, которую проявил в боях под Ригой. Оказывается, сдержал свое слово командир взвода младший лейтенант Володин.

Сколько радости было.

Правда, рука часто давала о себе знать. Особенно, когда за плуг брался. Бывало, станет в борозде, начнет растирать плечо, чтобы боль унять, а дети с интересом:

– Ты чего, батько?

– От удовольствия. Напахал много.

Да и косовица душу выматывала. Надо было накосить столько, чтобы и своей скотине хватило на долгую зиму, и третьяк отдать в колхоз, да и для продажи запастись. Как-никак, а живая копейка маячила вместе со стогами на поплаве. Купцы за сеном приезжали из разных краев. В плохие годы сено забирали для колхозных коров. Зачастую забирали за бесценнок. Но обиды не было. Коммунизм строили. И многим верилось, что построят.

* * *

Старик деловито перебирает пальцами по рукоятке:

– А ты, я вижу, сфотографировать хочешь? – и сразу согласительно добавил. – Ладно, пускай. Но таким, какой есть, костюм с медалями моих годов не убавит, да и на войне я был не генералом, а простым солдатом, а по жизни, как видишь, таким же тружеником. Так что, небож, не обессудь, переодеться нет резона. Вот зацепил такую рану, что и руки дрожать начали.

Он поднимается, давая понять, что закончил рассказ, украдкой вытирает набежавшую слезу и машет сыну:

– Петро, иди сюда. Неси мне грабли... Я вот что подумал, Петро, надо бы мне по весне в Чернитово побывать. Лодка-то наша стоит? Стоит. Вот на ней и сплаваем. Может, больше и увидеть его не придется.

Когда мы возвращаемся к машине, Петр идет, наклонив вперед коротко стриженную голову. Так идут навстречу сильному ветру, желая пройти этот путь, зная, что обратной дороги нет. Я вдруг замечаю, что он за эти несколько лет поседел. Вспоминаю слова Володи Гордейчука:

– Нам бы год за два..., это по справедливости.

Осень, дождливая и холодная, забрала из председательского корпуса Владимира Самуиловича. Для меня просто Володю, который при наших встречах вспоминал, как он на каком-то большом первенстве в Пинске победил в беге на сто метров и его приглашали в Минск.

– Все городские в шиповках бежали, а я – босиком! В нашей школе шиповок не было, – и уточнил: – Нет, не босиком, в носках, босиком стыдно было.

Он был родом из здешних мест – деревни Хойно.

Четыре года проработал руководителем крупнейшего по земельным угодьям в Пинском районе Парохонского филиала агрокомбината «Полесье». По любым меркам это совсем немного, но только не председательским. Когда-то здешний филиал был мощнейшим колхозом, имел огромный потенциал. Приезжали сюда и руководитель некогда мощного и огромного государства под названием Союз Советских Социалистических Республик Михаил Горбачев, частенько навещался любимец народа Петр Машеров. По своей площади парохонские земли превышали некоторые районы области. Даже перестроечные бури не смогли его вывернуть из земли. Потом пошла чехарда с организациями-реорганизациями, которыми хотели помочь выжить хозяйствам послабее. В райисполкоме, зная трудолюбие и добросовестность Гордейчука, предложили ему директорствовать.

Апрельским днем Полесье, в том числе и парохонские земли, посетил президент республики Александр Лукашенко. Знаковое посещение. Поднимался вопрос о той отдаче мелиорированных земель, на которую они были способны, планировалось вложение больших средств. Глава государства интересовался буквально всем, порой такими тонкостями, которые приводили в замешательство некоторых представителей министерств и ведомств. Им на помощь спешил председатель облисполкома Константин Сумар, недавно возглавивший область, но уже вошедший в многосторонний ритм ее жизни. Хотя, по правде говоря, он с этого ритма никогда и не выходил, поскольку сам был родом из соседнего Лунинецкого района. В области он сразу заявил о себе как грамотный, прагматичный и вместе с тем тонко чувствующий время руководитель. Вспоминаю, с каким удовлетворением здесь было воспринято известие о том, что именно ему Лукашенко доверил Брестчину.

И вот в тот апрельский день, не знаю, как кого, а меня порадовал местный механизатор. Ему предстояло продемонстрировать новейший трактор отечественного производства. Надо было отдать должное мастерству сидевшего в кабине человека: с практическими вопросами он справился отменно. Но Лукашенко вдруг подошел к трактористу и начал расспрашивать о возможностях техники, о том, на каких здешних полях наиболее рационально его применение, как сам тракторист чувствует себя в кабине такой машины. И ответы были предельно ясными и точными.

Журналист областной газеты «Заря» аккуратно-интеллигентный Адам Тоболич, делая пометки в блокноте, восхитился:

– Вот молодец, а!

Кто-то из толпы столичных газетчиков втихую съехидничал:

– А чего ему тушеваться, меньше должности не сыщешь, ниже кабины трактора не сядешь.

Когда рассказал Володе Гордейчуку, он развел руками:

– Николай, ты же знаешь, это такой человек, который с кабины своего трактора не только засеянное поле видит, а район, область, а может, даже и республику. Жаль вот, что маловато таких! Ничего, прорвемся! – и улыбнулся.

У Володи была необычайно красивая улыбка. Она на его круглом лице, как солнечный день. Улыбнулся – и тебе светло и тепло. Невозможно было не улыбнуться в ответ. Я ни разу не видел его хмурым, желчным, жалующимся.

Последующий за «президентским», как его прозвали местные сельчане, год оказался очень удачным для парохонцев во всех отношениях. Володю я фотографировал на фоне ком-

байнов, вместе с механизаторами, которые, экономя время, торопливо обедали, хотя обед, а их за время уборочной страды я перепробовал вместе с профсоюзным районным «боссом» Григорием Пригодичем почти во всех хозяйствах, был вкусным.

...На зернотоке высились горы хлеба. Здесь отливала здоровой желтизной значительная часть всего районного урожая.

– Теперь мы на коне! – улыбался Володя, и добавил: – Говорил, прорвемся!

Пригодич добродушно обнимал его:

– Да вот сделай ему кадр на память, чтобы когда-нибудь внуки взглянули и поняли, каким делом занимался их дед. Всем делам дело!

В тот день мы были самыми счастливыми людьми в этом огромном мире.

...Володя умер в прошлом сентябре. Умер внезапно, в середине рабочего дня.

Когда его хоронили, мужики между собой сетовали:

– Вот спалили человека?

– Да никто его не палил, сам сгорел.

– Скажу одно: не надо было так впрягаться.

– А как же без этого, должность требовала.

– Гори она гаром, такая должность, когда бац – и нет человека.

– А ведь так все хорошо ладиться начало, так хорошо.

– Что ни говори, а спалили человека.

И было непонятно, то ли они оправдывались перед кем-то, то ли себе в укор ставили, то ли кому-то другому все это адресовалось. Много седых голов склонилось над могилой. А дождь все шел и шел. И тракторы резали на промокших насквозь полях колею, в которой смогла бы перед атакой спрятаться целая рота солдат. Тяжелый был год. Очень тяжелый. Город тоже как никогда напрягся, чтобы помочь земледельцам: поскреб по своим закромам и направил на поля людей, технику, даже горючее изыскал.

После смерти Гордейчука сельхозпредприятию никак не удавалось подыскать хорошего руководителя. Хозяйство огромное по всем меркам. Одних пахотных земель – что в ином районе. Новый председатель райисполкома Валерий Ребковец предложил вернуться на эту должность его бывшему руководителю Владимиру Хроленко. Разговор был долгим и сложным. Все эти годы Хроленко работал председателем Сошненского сельисполкома, куда его перенаправила районная власть за строптивый характер. Принципиальный, грамотный, настойчивый, он требовал большей свободы для руководителя на месте, а не ежедневных отчетов перед вышестоящим начальством о том, что сделано. Мог и на заседании райисполкома высказать на все происшедшее свою точку зрения, от которой у некоторых посасывало под ложечкой.

На отчетно-выборном собрании присутствовал председатель облисполкома Константин Сумар. Он поставил перед коллективом очень высокую планку в развитии животноводства, зерновой и кормовой базы. Очень высокую. На этом же собрании Валерий Ребковец и предложил кандидатуру Хроленко в новые руководители ОАО «Парохонское». Зал ответил громовыми аплодисментами. Люди помнили, знали его хватку, верили ему. Как показало время, они не ошиблись.

* * *

Садимся в машину. Петр задумчиво говорит:

– Надо как-то просьбу отца выполнить, а сейчас поедem на сев. И загадаем желание. Как у нас говорят: «Чтоб река была глубокая, а жито – высокое».

...Нынешней же весной он пригласил посмотреть озимые. Те самые поля, на которых осенью «дыркал» новый посевной комплекс. К тому же в его адрес пришло в газету письмо, и мне хотелось, чтобы вначале он заглянул в него. Письмо прислала жительница деревни Паре.

«Я, Пиловец Ольга Исидоровна, вдова солдата-фронтовика. Мой муж погиб. Осталась я вдовой в 25 лет с маленькой дочкой Галиной на руках. Сама я сирота. Мать умерла от родов. Сколько горя пришлось хлебнуть. И в войну, и после нее.

Но всю жизнь, несмотря ни на какие трудности, держала коровку. Сама косила ей сено. Не бабье это было дело, да видимо такая уж моя доля. Сама растила и воспитывала дочь.

До самого выхода на пенсию работала дояркой. Теперь живу около дочери. Она тоже вдовая. Муж ее рано ушел из жизни. Мы с ней держали корову, но ветеринары признали ее лейкозной. Пришлось нашу кормилицу сдать...

Мы были в отчаянии: где же весной купишь корову? А без молока я в свои 85 лет жить не могу. Нам посоветовали пойти к председателю нашего СПК «Ласицк» Петру Николаевичу Яромчику.

Пошли.

Он нас выслушал и сказал: «Будет у вас корова первого отела».

Люди добрые, как же мы обрадовались.

Низкий поклон этому душевному человеку. Здоровья ему и его семье.

Видимо, не зря мой Яков погиб, освобождая Родину.

Также большое спасибо председателю Ласицкого исполкома Елене Андреевне Синютич за ее заботу по обеспечению топливом. И телефон нам поставили.

И за все льготы, которые нам предоставляет государство, а это свет, газ, радио, телефон, да еще много чего, спасибо.

Еще раз низкий поклон вам, дорогая моя власть, от солдатской вдовы Пиловец Евгении Исидоровны и ее дочери Галины.

Деревня Паре».

– И что вы хотите с ним делать?

– Напечатаем. Автор просит напечатать.

– А может, не стоит, – он грустно улыбается, – всех не облагодетельствую, время пока еще не то, трудно с финансами. Только, только... да о чем речь. Люди? Люди скажут: Пиловцам дал, давай и нам. Как только кому поможешь, так некоторые начинают искоса смотреть. Хотя решай сам. Здесь я тебе не указ.

Поле смотрелось хорошо. Я понимал его гордость, когда он присел перед ним и погладил рожь рукой:

– Ну как она тебе? Верить, это лучшие всходы, которые здесь были за последние десять лет.

Перед этим сюда приезжал смотреть председатель райисполкома Валерий Ребковец, остался очень доволен. Людей благодарил. Я понимал Яромчика: теперь только бы никаких сюрпризов природа не преподнесла. Она в этом плане полешуков «любит».

Валерий Ребковец принял должность председателя райисполкома от Вячеслава Сашко. Сам был он из местных, до этого руководил «Пинскрайагросервисом». Мехотряд его предприятия становился неоднократным победителем республиканского соревнования по заготовке кормов. Эти поля с детства его вскормили, вырастили, подняли. Как раньше частенько говорили, а теперь хоть изредка, но вспоминают: «Коренной полешук».

То, что природа и на самом деле «любила» полешуков, частенько испытывала их на прочность, нередко писалось в газетах. Или затопит, или засушит. А могла преподнести кое-что и похуже. На моей памяти майские да июньские заморозки 2001 года. Когда в председательских кругах вспоминали тот тяжелый год, директор ЧУП «Сошно» Юрий Хвостюк, докурив очередную сигарету, как-то мне сказал:

– Вот здесь оно, то 23 мая, – и потер грудь. – Я тогда только в должность вступил, и на тебе...

Прежде чем выбросить окурок, привычно, как делают практически все, кто трудится на торфяниках, растер его прокуренными до янтарной желтизны пальцами (две пачки в день) в труху, растер вместе с огоньком, пеплом и табаком. Обычно так гасили окурки и те, кто воевал.

Вспоминали, и опять накатывала неумолимая горечь тех дней. Казалось, она и не исчезала. Просто иногда затухала на время. А затем, дай только повод, всплывала, выскакивала из глубины, словно ожидая этого момента, чтобы растревожить душу. Крепко посадил тот год некоторые хозяйства, наверное, ниже и не придумаешь.

Председателя сельхозкооператива «Лыще» – тогдашнего колхоза имени Кирова – Казимира Линкевича теми днями я увидел на поле. Люди сказали, что он там, вот и я поехал к нему. Он сидел, обхватив голову руками, и не слышал, как мы подъехали: поля не было. Голо-пусто на земле. Чернели убитые холодом свекла, картошка, кукуруза... И ни подойти к Казимиру, ни посочувствовать... Было боязно даже взглянуть ему в глаза. Знал, что увижу в них только эту холодную обугленность полей, на которые он возлагал столько надежд, которые пропитаны людским потом.

На селе говорили:

– Вот, как Мамай прошел, будь оно все неладно.

– После Мамай, может, что-нибудь бы да и осталось, а здесь...

В огородах над почерневшими грядками и картофельными загончиками причитали, заломив руки к небу, старухи. Какой-то селянин, скомкав кепку, вытирал мокрое от слез лицо: «Ой, Господи, помоги перенести...»

Затем вдогон майским прошли июньские заморозки, которые добились то, что еще уцелело. В том же «Лыще» холода извели свыше 70 процентов полей. Свеклу, кукурузу и того больше. А ведь это был его, Казимира Линкевича, первый председательский год. Год, когда он вернулся сюда, в родные места, где родился, где учился, откуда шагнул в большую жизнь.

В других местах оказалось не лучше. Природные катаклизмы рубцами легли на сердце большинства руководителей здешних хозяйств района. И не только Пинского. Звонил на родину – в Лунинец, такая же картина. Как сообщили из Столина, у них не лучше. И Ганцевичи тоже плакали.

Молодое белорусское государство, по сути, ничем помочь пока не могло. Оно само только-только набирало силу, как набирает ее не по своей воле переболевший пахарь. Он знает, что вот-вот выйдет в поле, что еще не раз порадует его.

И на то он полешук, чтобы жить, трудиться, невзирая ни на какие невзгоды.

...Яромчик стал рассказывать, как возили отца в Чернитово на родовое поле. Старик встал перед ним на колени и долго-долго шептал «Молитву на нивах», как шепчут самое-самое: «...и даждь ему приносить плоды во время, исполнены благословения Твоего: и всякаго зверия и гада, червь же и мухи и ржу, зной и вар, и безгодныя ветры, вред наносящия, отжени от него».

И птичий спев...

И благоухающая весна...

...И седой, как лунь, отец, стоявший перед всем этим на коленях. Может, в последний раз так стоявший.

– Теперь понимаешь, почему я согласился, – говорит Петр. – Слушай, ты видел, как цветет черемша?

Как цветет черемша, я видел в Карпатах, но чтобы здесь, у нас, на Полесье... И не соврал, ответив «нет». Он обрадовался:

– Тогда покажу. Это напрямую километров шесть отсюда, около Борок. Какой запах! А цвет! Целое сияние! Это мое любимое место еще с детских лет. Поедим ее вдоволь! Нет ничего вкуснее черемши с черным хлебом.

Жолнеж

С 1937 по 1939 год в Войско Польское только из Пинского повета призвали около тысячи молодых белорусских парней. А сколько их всего было призвано по всей Западной Беларуси! И у каждого новобранца своя судьба, своя нелегкая жизненная дорога. Им было суждено попасть в круговерть начавшейся осенью 1939 года Второй мировой войны, защищая Польшу как государство, которому они присягнули. Многие жолнежи прошли тяжелый путь немецких и советских концлагерей. Часть из них во время формирования Войска Польского вошла в состав его первой дивизии имени Тадеуша Костюшко и приняла бой с немцами на Белорусской земле под Ленино. Другая часть добиралась через Иран, чтобы сражаться в составе войск коалиции и покрыть себя славой под Монте-Касимо.

Седой, как лунь, высокий, не согнутый ни жизнью, ни старостью, Миколай Иванович Дырман по вечерам на исходе дня садился во дворе под березой, закуривал и молчал. Думал. О чем? Может, о том, что набралось больше вопросов, чем ответов. Хотя, наверное, спасибо судьбе и за то, что к концу жизни судьба все же повернулась к нему. Да еще Прасковья. Это она захотела, чтобы Миколай постоял за себя, за все то, что осталось позади. А то ведь как и войны у него не было. И Победы тоже.

У всех была. У таких, как он, нет.

Ни на одном этом празднике никто не вспоминал о нем, бывшем польском солдате, на чью долю выпало столько всего, что рубцами легло на всю оставшуюся жизнь.

Не раз и не два говорили мы с ним об этом. Сколько архивов довелось мне, тогда военному журналисту, поднять, сколько запросов послать, чтобы каждое сказанное им слово подтвердить документально.

И только теперь, на склоне лет, пришло к таким, как Миколай, спасибо от польского народа. Пришло во многом благодаря той политике, которую по отношению к участникам Второй мировой войны стала проводить новая Беларусь.

Пригласят старых солдат в Варшаву и будут там чествовать как героев. С Пинщины таких набралось свыше двух десятков человек. Получат они медаль участника войны сопротивления и указ к ней первого президента Польши Леха Валенсы. Своят их к местам бывших боев, где глаза застелет слеза воспоминаний...

* * *

... Плохое знамение выпало в тот год его родному селу Лунин. И кто его наслал? С соседями жили мирно, разве что лобчан могли подразнить, довести до белого каления, а то и до дрючка в руках. Но чтобы до «красного петуха»? Борони Бог.

Скорее всего, в таком знамении было виновато само село.

Тем вечером 1926 года Илья Голова с Грицом решили погрузить на подводы доски, чтобы с утра пораньше свезти в Пинск и продать. Пречистая – большой праздник, и базар большой. Покупателей много, и за хорошие доски давали хорошую цену. Когда нарезали их на местном лесозаводе у Бромберга, спрятали в клуню, чтобы, не дай Бог, лесники князя Друцко-Любецкого не пронюхали. Тогда или большой штраф, или долговая тюрьма.

Когда зашли в клуню, Илья прибавил огня в керосиновой лампе и повесил ее на крюк:

– Ладные доски, – удовлетворенно сказал он.

– Гроши будут, – подтвердил Гриц.

Замолчали, принялись за работу. Уже заканчивали, когда Илья, поворачивая последнюю, зацепил лампу. Огненная струя вместе с разбитым стеклом плеснула на солому. Клуня вспых-

нула, словно в ней порох держали. Еле успели Илья с Грицом выскочить да коня подальше отвести.

И поплыл над селом истошный крик:

– Пожа-а-ар!!

Нет ничего страшнее такого крика. До этого огонь несколько раз опустошал лунинские улицы. Еще не забыло село, как, обняв ступку, металась с безумным взглядом около горящей хаты Оля Обромения, а ее Роман все старался вынуть из проемов новые окна, за которые уплатил немалые деньги и совсем недавно вставил.

Хаты стояли почти рядышком. Крыша к крыше. Теснота. Да и крыши где соломенные, где камышовые. А если ветерок... – пошел плясать огонь.

Вот и теперь сразу задымилось у Романа Рублева, у Головиных, за ними у Мыла, Космича занялось.

Затем вдруг сразу через несколько огородов плеснуло огнем. Это над хатой Миколая Свєрыпыча. Тот жил один. Бобыль бобылем. Уже спать собрался, когда услышал людские крики. Одедся, да сразу в клеть, где в обвешанном паутиной углу хранил сбережения на черный день. Сунул горящую лучину, чтобы угол получше высветить, – паутина порохом вспыхнула, от нее соломенная крыша...

Разгулялась стихия. Выгорела улица по одну сторону до Великаши. По другую – до Ивана Ткача. Сюда, ближе к центру, село спас большой огород Лобков. Не хватило сил огню перемахнуть через него.

Повезло и Ивану Дырману, Миколаевому батьке. Только сараи сгорели, а хата уцелела. И на том Бога благодарили, что хоть окрайцем своей милости, да не обошел их.

Погоревали при беде. Порадовались тому, что не совсем разорила.

– Вот, сынок, напасть какая, – говорил Миколаю отец, – чтобы на твоём веку никогда таких пожаров не встречать.

Не думал он, что суждено сыну и не такое увидеть.

Строились, правда, долго. Не было денег на покупку леса. Билет на порубку выдавался у князя раз в год и стоил 15 злотых. Заработать негде. На всех лучших работах трудились поляки. К себе не подпускали. Пристроилась семья к еврею Бромбергу на лесозавод колодки из лесу возить. Антон, Володя, они постарше Миколая, отцу помогали. За это получали 90 грошей. За них можно было купить килограмм колбасы (стоил он 70 грошей), еще 20 оставалось на курицу. Свой табак садить не разрешалось. Хочешь – бери в краме. Нет – не кури. Если пару колодок своровать удавалось, то везли в Пинск. Ночью, чтобы утром продать на фанерную фабрику и к обеду вернуться. Стражники знали об этом заработке и караулили. Не дай Бог было попасться им в руки. Могли и побить крепко, и в тюрьму упереть. Побой ладно, стерпят, а вот тюрьма...

Миколай ходил в пастухах. Пять лет с кнутом за пуд хлеба в год. Коров держали больше для навоза. Молока они давали мало. Сейчас одна дает столько, сколько тогда пять.

Вся семья трудилась, как вол в упряжке.

– Терпи, сынок, когда-то оно лучше будет, – утешала мать.

– Когда?

– А кто его знает.

За пару лет отстроились. Хорошие сараи поставили.

– Хоть и помучились, – довольно говорил Иван, – но как у людей.

Майским вечером первая весенняя гроза спалила их. Ладно, успели живность выпустить...

– Невезучие мы по жизни, сынок, – плакал старый Иван.

* * *

Февралем 1937 года призвали Миколая Дырмана в польскую армию. Оказался месяц на редкость теплым. Даже пчелы загудели. Гудели по селу и новобранцы. Ходили, буянили.

Призывную комиссию проходили в Лунинце. Обследовали там хлопцев дотошно. Кто был ниже 160 сантиметров, не брали. Польский офицер осмотрел Миколая, который оказался на полголовы даже выше его, довольно крякнул:

– Будут все такие солдаты, Войско Польское не пропадет.

Вначале его и нескольких человек завезли в Пинск. Игната Малашицкого из Парохонска, Ивана Тимошевича из Дубнович, а также из Логишина и Погоста. Хлопцы обрадовались: вот удача, если оставят служить около дома. Поговаривали, что здесь присматривают матросов для речной флотилии боевых кораблей. Миколай сказал:

– Буду проситься. Пинск – хороший город, мать приедет...

Не оставили, даже в город не пустили. Спустя пару дней покати вагон дальше, почти под границу с Германией. До Одера, плескавшего в берег, полтора километра.

После скудной домашней пищи солдатская еда поразила сельского парня. Каждый день в меню было что-то новое. Такое, что Миколай и не ел никогда, и слышал впервые. Скажем – гуляш с соусом. Суп. Борщ. Свежее сало. Сало копченое. Когда однажды несколько дней подряд дали ячневой каши, есть ее не стали, хотя сверху и жир аппетитно плавал.

Распорядок дня соблюдался очень даже строго. В семь утра подъем. Физзарядка. Умывание. Молитва. Завтрак, к нему кофе с маслом. Затем кросс с полной выкладкой на 3 километра. Или марш-бросок на десять.

Командир роты, симпатичный офицер, любил белорусские песни. Часто говорил:

– Ну, белорусы, дайте песню, чтобы всяка матка польска слышала!

По стрельбе и метанию гранат Миколаю в роте равных не было. Замах хороший имел: косою на бобриковских болотах выработал. Когда из Варшавы приехал проверяющий, ротный не преминул похвастаться солдатом:

– Покажи-ка, Дырман, цо ты можешь!

Миколай и показал: граната, пролетев учебное поле, упала почти у бани. Пачка сигарет в награду.

Плац для строевой подготовки располагался почти на самом берегу Одера.

По ту сторону чинно прогуливались немцы.

Подходил к концу срок службы. 15 сентября 1939 года намеревался Миколай Дырман отправиться домой. Но вокруг уже чувствовалось неладное. Хорошо было видно, как прибывали немецкие войска. Душа просила: только не сейчас. Попозже. Когда домой уедет. Такими мыслями жили тогда многие солдаты-белорусы, кому предстояло увольнение.

Немцы не особо прятались. Всю свою подготовку вели открыто.

Поляки не хотели верить в войну. Душой напряглись: что из всего этого будет? Капитан поставил перед ротой задачу окапываться по берегу Одера до самого замка местного шляхтича. Позиции занимались с вечера, сидели в них до утра.

...И война началась.

2 сентября всю роту собрали в казарме. Прибыло командование. С ним ксендз. Совершили молитву о спасении Польши. После молитвы капитан начал речь:

– Жолнежи, мы победим!!

Офицер говорил, а Миколай думал о том, что если бы не война, то через неделю сидел бы дома.

– Жолнежи, мы победим!! – закончил капитан.

Стоявший позади Миколая односельчанин Николай Шельма буркнул:

– Съест нас немец и не подавится. Вон у него сколько всякого оружия. Будем Бога молить, чтобы уцелеть.

От его слов веяло тоской. В батальоне много земляков служило: Василь Протасевич из Пинска, Адам Кучмик из Ганцевичей... Из Давыд-Городка, Кожан-Городка. Каждый думал об одном: что с родной хатой будет? Доведется ли хоть когда-нибудь ее увидеть?

На дальнем конце, а затем в середине строя кто-то громко кричал: «Виват, Польша! Виват!» Кричали все. От крика повеселели.

Вечером сержант Дырман во главе пулеметного расчета заступил в дозор. Со стороны Одера тянуло сыростью. На немецкой стороне весело пиликал губной гармоник, затем к нему присоединился аккордеон. Запели. Затем все стихло. В польском селе протяжно выли собаки.

– От заразы, душу выматывают.

– Беду чувствуют.

– Может, не сегодня.

Рано утром вверху загудели самолеты. Все небо укрылось их гулом. Затем немецкие орудия начали прицельно бить по расположению батальона. Не просто бить, так молотили, что земля ходила ходуном. Широко застрекотали пулеметы. Вверху опять волной пошли самолеты. Самых немцев и не видать. Миколай приказал расчету стрелять в сторону реки.

– Куда, в кого? – спрашивает второй номер.

– Все равно... надо стрелять.

Немцев нигде не видно, только артиллерия их продолжала, словно цепями на сельском току, ухать по земле. От траншей и окопов лишь одно напоминание. Все вздыблено. Приказал:

– Отступаем к основным силам.

В длинной траншее второй линии с отростками окопов уже сидел весь батальон. Офицеры что-то приказывали, подбодряли. Однако немецкая артиллерия не унималась. Спустя час или полтора немецкая пехота ударила во фланг их обороне. Да так, что не было никакого спасенья. Автоматами траву сбрасывали...

Через несколько часов боя от батальона мало что осталось. Потом все разом притихло. Даже не верилось. У Миколая как сержанта солдаты спрашивают:

– Никак отступил немец-то?

А как же, отступил. Он уже был где-то позади километрах в тридцати. Окружение.

Батальон получил приказ отступать к городку Груденец. Вечером собрали их офицеры в колонну. Пошли. Потеряли ориентировку. Уткнулись в лес. Приказали ждать утра. Еще до восхода солнца капитан скомандовал: «Вперед!» А куда, где он, этот «перед»?

– Туда! – махнул он рукой на восток.

Туда – так туда. Неровная солдатская колонна побрела от опушки в поле. Здесь их встретила немецкая артиллерия. Поле взмыло разрывами. Бог мой, что там творилось! Оставшихся в живых окружила пехота на мотоциклах – и давай поливать пулеметным огнем. Капитан кричит:

– Занять круговую оборону!!

Попытались отстреливаться, да что толку. Немец снова поддал из орудий. «Если выживу в этой бойне, – подумал тогда Миколай, – то сам черт мне не брат».

В приодерской Польше много немцев жило. Их хозяйства сильно отличались от польских. Богатые люди. На их подворья ни один снаряд не упал, ни одна пуля туда не вжикнула.

Миколаевые подчиненные от своего сержанта ни на шаг.

– Нам бы до темноты продержаться, – проговорил он.

– А там куда?

– На кудыкину гору. Будем отступать. Где-то его должны остановить.

Бой продолжался до самой темноты. Сносили в кучу раненых и убитых. Ох как захотелось жить им всем в ту ночь. Прошла она на удивление спокойно. Даже вздремнули малость.

Утром немец опять артиллерией по перелеску. А Миколаю снилось, что это отец за плечо трясет. Спихнулся, нигде никого. Снаряды ухают. Пошел. Лес все реже и реже. Озеро заблестело. Красивое. На берегу группки солдат, в порядок себя приводят. Среди них и земляки. Облегченно вздохнул и быстрее к воде. Пока туда-сюда, их немцы окружили. Согнали в кучу. Ни пинских, ни ганцевичских уже не увидел, никого. Потом, в концлагере, кое с кем пути пересекутся. Но ненадолго.

Приказали сложить оружие. У Миколая только пистолет в кобуре да офицерский багнет (кинжал). Построили, начали осматривать. Один из немцев в сторону Миколая пальцем показал. А чего? Подумал, что ему ремень понравился, хороший, из бычьей кожи. Снял тот с него кобуру и багнет, бросил в кучу, а ремень с улыбкой обратно отдал. Отогнали пленных от леса километра на два, к деревушке. Около нее был пункт сбора. Тех, кто мог двигаться, построили в колонну и погнали. Дня четыре шли, пока не подошли к городу Гловневу. В нем находилась большая табачная фабрика. Пленных разместили на ее территории. Голод жуткий. Двое суток только воду пили. Вот курить – сколько хочешь. Немцы не весь табак вывезли, а что до махорочной пыли, так ее по углам скреби, не выскребешь.

Вот и дымили. Сизый дым, как туман, и из окон в небо, и над фабричным двором. Покуришь, вроде и есть не хочется. Но насколько этого вроде хватало? На пару часов. Затем опять голод кишки выкручивает.

Через несколько дней пришел представительный, спокойный такой, очень уверенный в себе немецкий офицер и с ним гражданский. Офицер неплохо говорил по-польски. Сказал, нужны люди «арбайтен». А куда, не сказал. Среди пленных молчание. Вдруг за ворота выведут и расстреляют. Война ведь. Было такое, когда колонна шла полем, и несколько изголодавшихся человек бросилось из нее на поле за капустой. Вскинули винтовки, трах-ах – и нет людей.

Сейчас отобрали пятерых. Миколая, видимо как самого высокого, назначили старшим. Повели на станцию. Как подошли к вагону, голова закружилась, так пахло хлебом. Вагон – буханка на буханке. Только в руки взяли, а рот сам уже откусывает. Немцы смотрят, смеются. Правда, перед этим предупредили: ешьте, сколько влезет, но с собой не брать. Один из них показал, что будет, если послушаются. Жест был весьма красноречив. Мол, паф-паф!

Заканчивают разгружать вагон, а Миколая мысль точит: хлопцы на фабрике голодные. Земляки. Двое из Лунина, Пинска. Да односельчане Николай Шельма, Невдах, Колб. Подумал: будь что будет, а хлеба им надо отнести. Одну буханку в рукав шинели спрятал, другую в другой. Третью порезал и под ремнем рассовал, не видно. Построили: холодным потом прошибло, а вдруг проверят. Осмотреть осмотрели, но не проверили.

Как стали подходить к фабрике, из-за проволоки крик:

– Пане жолнеж! Пане жолнеж, сколько хлеба несешь?

– Пане, хоть лусточку!

– Пане, помираем!

С этой стороны, ближе к входным воротам, держали гражданских, видимо евреев. Народ до того оголодал, что немцы туда только с собаками заходили. Просунул буханку под проволоку. Что началось!

То же самое и там, где военные были. В обед привозили хлеб и вареную брюкву. Раздавали еще мучную похлебку. Но через день... крик, гвалт. Каждый хуже любой скотины. И обиды никакой, до отчаяния дошли.

Через месяц стали завозить хлеб, правда, за деньги. Хочешь буханку – плати 60 грошей. Первый раз, когда привезли, сказали, что по такой цене, так Миколай не поверил. Думал, шутят. У него карман денег был. В карты выиграл в самом начале плена. В селе, где колонну остановили на передых, разрешили пройти по хатам и попросить поесть. В одном из домов несколько пленных ожидали, когда хозяйка сварит картошки. Пока ожидали, решили перекинуться в карты. Игра сразу пошла на интерес. Ну и Миколай к ним подсел. Дома мужики

частенько по вечерам резались в очко. Его приняли, но вначале потребовали показать злотые. Потом, когда ему пошло везение, обозвали шулером. Были деньги их, стали его. Хотели поколотить, да поняли, что с Миколаем сладить трудно. Но картошки не дали. Деньги сунул в карманы, так, на всякий случай. Правда, вскоре хотел выбросить: к чему они? И вот на тебе.

Немцы нет, не шутили. Кто был с деньгами, стали быстренько в очередь выстраиваться. Таких оказалось немного. Но из нескольких десятков тысяч набралось порядочно. Миколай односельчанина Шельму за плечо:

– Давай со мной, быстрее!

И бегом к очереди.

– На деньги, становись. Надо набрать себе и хлопцам.

Радости сколько было. Держат хлеб, глядят его, как малое дитя, плачут.

За месяц фабрику, все ее закутки пленные вылизали так, что она табаком и не пахла. С куревом совсем плохо стало. Без хлеба вроде бы и держались, а вот без табачка никак. Беда.

– Дырман, иди сюда, – потянул его за рукав невысокий еврейчик, из гражданских. Он все время около Миколая вертелся. – Слушай, что я тебе скажу: у тебя есть хлеб, а я имею сигареты. Давай обмен делать.

– Согласен.

Обменялись. У того слезы на глазах. Хлеб к груди и бегом туда, к проволоке. Миколай смотрит ему вслед, может, сядет, отломит себе кусок. Нет, бегом, без оглядки. Да-а-а!

Сам закурил. Только затянулся, а с него уже соседи глаз не сводят, каждый хоть на затыжку, но надеется.

– Кури, хлопцы.

– Ох, мамо, мамо...

По две затыжки на брата – и сразу легче.

Так и пошло: Миколай еврею хлеб, тот ему сигареты.

– Только вот где он их достает? – удивлялись пленные. – За проволоку не выпускают. Не иначе где-то на фабрике.

Миколай к нему с вопросом:

– Хаим, скажи где?

– Как скажу, так без хлеба останусь.

– Да нет...

Не согласился. Хаиму он со станции хлеб приносил исправно. Сдружились.

Через неделю тот подошел к Миколаю:

– Завтра нас поведут отсюда. Куда, не знаю. Идем, покажу тебе, где есть курево.

В подвале оказалась заваленная, загаженная какими-то отходами комнатка. За ней другая. Не знай – не найдешь, не заметишь. Там и были папиросы, сигареты. Много папирос и сигарет. Вроссыпь.

– Вот Хаим, надо же так их унюхать, – восхитился евреем Миколай, – дай я тебя обниму.

Сам со своим высоченным ростом еле пролез туда, набрал полную противогазную сумку. Все, теперь не пропадем: курево есть, хлеб тоже. А что еще здесь надо, чтобы выжить.

Утром всех евреев выстроили на фабричном плацу. Окружили солдатами с собаками. Повели. Крик. Плач.

Больше месяца держали пленных солдат на фабрике. Без лекарств много раненых умерло. Вошь пошла. Хорошо, холода не наступали, а так одной машины, что вывозила мертвых, не хватило бы.

В конце октября приехали советские офицеры. Пошел среди пленных слух: у кого из западников-белорусов богатая родня, а у нее – золото, тех обменяют на поляков, что оказались в плену у Советов. И раненых будут обменивать, но только тех, у кого земли много.

Первым из пленных, что находились в главной пристройке, вызвали Колба. Ожидали его недолго. Не пришел, прибежал. От радости и слова толком сказать не может.

– Записали... записали, значит. Сказал, что земли у родни 20 гектаров и что деньги есть.

– Так у тебя нет ее столько.

– Была не была, может, поверят.

Оживились, зашевелились. Надежда появилась. Вызвали и Николая Шельму. Раненый он был. Ослаб сильно, но жилистый хлопец. Записали и его. Те, кто похитрее, поняли, что надо и соврать, пока там разберутся. Главное, чтобы записали.

Два списка вели. Один немцы себе составляли, другой – советские офицеры.

Вызвали и Миколая.

– Вы, хлопцы, как хотите, а я обманывать не стану. Нет у батки ни земли, ни золота.

Накинулись на него сотоварищи:

– Главное – домой вырваться!

– А если проверят?

– Пока никого не проверяли.

– Так ведь и никого не отпустили.

Зашел Миколай в комнату. За столом сидят немец и два советских офицера. Ладные такие, курят, пьют что-то. По-немецки хорошо говорят. Переговорят с немцем и смеются вместе. Записывали все. Спрашивали, имеет ли семья возможность выкупить его.

– Нет, не имеет.

– Бедняк?

– Так.

– Вы свободны, – и указали на дверь.

– Паночки, а может, как-нибудь? – начал просить Миколай.

– Нет, идите!

Не один он такой упрашивал. Некоторые чуть сапоги им не целовали. Так умоляли. Куда там, из всего списка выписали тех, кто побогаче был. Начали справки наводить. Раненых, правда, быстро отправили. Остальных же пока не проверили – никуда.

Уехали на родину Колб и Шельма. Прощались как-то не по-мужски, со слезой. Судьба поступит с этими людьми жестоко. Но кто знал? Некоторых из них отвезут в Архангельскую область, некоторых под Смоленск, там и затеряются следы навсегда.

* * *

Тех, кто обманул, немец себе на заметку взял. Все думали, что к расстрелу дело пошло. Но через пару недель, в середине ноября, пленных начали вывозить с фабрики.

Трое суток в эшелоне без еды, воду давали изредка. Лагерь оказался недалеко от станции. Поле. Свежесколоченные бараки. Несколько рядов проволоки. Высота ограждения три метра, подходить близко к нему категорически запрещалось: огонь! И без предупреждения. Охрана на вышках покурит, бросит окурки на землю. Кто подбежит к нему, чтобы взять, так с одной, с другой вышки шарах из автоматов... Нет человека.

Страна называлась Голландия.

Не так от голода мучились, как без курева. У кого деревянные мундштуки были, порезали, потеряли и скурили. В день выдавали алюминиевую кружку отвара из свекольных листьев и буханку хлеба на двенадцать человек. Народ до того отощал, что если в барак заходил фельдфебель из охраны и кричал «Ахтунг!», вроде бы и торопились подняться, но от немоги падали. Приехал врач, провели медосмотр. Кто пятьдесят кило весил, кто сорок, а кто и еле на тридцать тянул. От постоянного лежания пролежни пошли, по живому люди гнить начали. Врач

рекомендовал лагерному начальству выводить пленных на прогулку. Какая прогулка, когда от земли ног не оторвать! Неделями никто в туалет по-тяжелому не ходил.

Перед Новым годом опять погрузка в эшелоны, а выгрузка уже в Германии. Снова лагерь. Начали давать мучное пойло. Обрадовались ему. Хотя что-то похожее на еду. Через неделю из пленных стали организовывать рабочие команды. В одну из них определили Миколая. Было в ней двадцать человек: два белоруса и восемнадцать поляков. Привезли в поселок, отдали бауэрам. Пошла более-менее сносная жизнь. И еда получше, и работа не очень, чтобы трудная.

На Коляды, у немцев это Рождество, попросил хозяин крестовину для елки сделать. Миколой сделал. Хозяин принес елку в пристройку для рабочей команды:

– Празднуйте! Молитесь за великую Германию.

Елку установили на столе. Немец всем дал по пачке табака. Собрались около елки. Некоторые поляки плачут. Один, женатый, в углу сел, молится:

– Матка Боска...

На душе у всех худо, погано.

Немец опять пришел, спрашивает:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.